



РОССИЯ ДЕРЖАВНАЯ

Х.-М. Мугуев

К БЕРЕГАМ ТИГРА

МИР КНИГ

Х.-М. Мугуєв



К БЕРЕГАМ ТИГРА



УДК 821.161.1Р
ББК 84(2Рос=Рус)
М89

Дизайнер обложки А. Кузнецов

М89 **Мугуев Х.-М.**
К берегам Тигра: Повесть / М.: Мир книги, Литература, 2011.— 208 с. (Россия державная).

ISBN 978-5-486-03765-8

Хаджи-Мурат Магомедович Мугуев (1893—1968) — поэт, писатель, драматург и публицист. Родился в Северной Осетии, в семье осетина-казака. В чине хорунжего участвовал в Первой мировой войне, воевал на Кавказском и Персидском фронтах. После Октябрьского переворота встал на сторону большевиков. По возвращении во Владикавказ служил в Красной армии, затем сотрудничал с советской разведкой, работал в советском консульстве в Турции. В 1941 г. Мугуев ушел на фронт; после тяжелого ранения под Сталинградом потерял зрение. Но и после войны он продолжал заниматься литературным творчеством и общественной работой.

В основе представленной в этом томе повести «К берегам Тигра» лежит реальный случай. 1915 год. Первая мировая война. Историческое лицо — есаул Гамалий, командующий казачьей сотней Уманского полка, стоявшего тогда в Персии, — получает приказ вести сотню в направлении Месопотамии. Там она должна встретиться с войсками союзнической британской армии и поддержать боевой дух англичан. Задача не столько стратегическая, сколько пропагандистская, но чтобы ее выполнить, казакам придется преодолеть больше тысячи километров — по пустыне, под палящим солнцем, сбиваясь с пути и натываясь на турецкие засады...

УДК 821.161.1Р
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03765-8

© ООО ТД «Издательство
Мир книги», оформление, 2011
© ООО «РИЦ Литература», 2011

К берегам Тигра





Прежде чем опубликовать записки сотника Бориса Петровича, я должен рассказать, как они попали ко мне и что побудило меня выпустить их в свет.

В 1917 году, возвращаясь из Персии, я встретил в городе Керманшахе сравнительно молодого казачьего офицера, оказавшегося моим попутчиком. В Хамадане Бориса Петровича (это был он) задержали какие-то непредвиденные обстоятельства. Части уходили с фронтов, демобилизация шла полным ходом. Узнав, что я буду на Кубани, мой новый знакомый попросил меня захватить с собою небольшой чемодан и оставить в Екатеринодаре, у его родных.

Я согласился. Но попасть в Екатеринодар мне удалось не скоро: вспыхнула Гражданская война. Начались бои, отходы, наступления. Когда наконец 11-я Красная армия, в рядах которой я сражался, заняла Екатеринодар, выбив из него белых, никого из родственников Бориса Петровича в городе не оказалось.

Таскаться дальше с лишним чемоданом я не мог. Вскрыв его, я нашел в нем среди не представлявших ценности офицерских вещей публикуемые ниже записки, весьма заинтересовавшие меня.

Гражданская война разгоралась. Я перекочевывал с деникинского на колчаковский и с врангельского на вновь образовавшийся польский фронт.

Мне пришлось участвовать в ряде славных сражений, покрывших нашу красную конницу неувядаемой славой. Киев... Житомир... Белосток...

Когда после упорных боев за переправу через Вислу я вместе с другими ранеными попал в белостокский госпиталь, на меня с соседней койки неожиданно глянуло знакомое смелое лицо с опущенными по-казацки вниз усами. По смеющимся глазам и добродушной улыбке раненого я понял, что он тоже узнал меня.

— Гамалий! — воскликнул я, обрадованный и потрясенный этой встречей.

Это был мой старый приятель, еще по турецкому и персидскому фронтам.

— Эге, братику, он самый. — Здоровая рука соседа крепко сжала мою.

— С нами! Наш!

— А как же, конечно! — И он любовно и гордо скосил глаза на алевший на его груди орден Красного Знамени.

Когда мы вдоволь насытились воспоминаниями, разговорами и взаимными расспросами, я неожиданно вспомнил Бориса Петровича. Гамалий помолчал, а затем грустно сказал:

— Нет его. Убит под Львовом. Жалко. Хороший, боевой был офицер, с первых же дней присоединившийся к народу.

— А как же быть с его дневником, записками? Они остались у меня.

— Не знаю, вам виднее.

На досуге я вновь перечитал рукопись и решил, что ее следует опубликовать. Листая страницы этих серых, дешевых тетрадей, я испытывал чувство гордости за русского солдата, за свою страну, за наш мужественный, стойкий народ. В описанном походе мне почуялось что-то общее с переходом через Альпы суворовских чудо-богатырей, со славными походами наших красноармейцев по безводным пескам Средней Азии.

В этих записках рассказана захватывающая история о том, как сотня людей была брошена в...

Впрочем, вы прочтете это сами.



ЗАПИСКИ СОТНИКА БОРИСА ПЕТРОВИЧА

Резкий звонок полевого телефона будит меня... Борясь со сном, протягиваю руку к аппарату:

— Да!.. Кто у телефона?

— Ваше благородие, командир полка просят вас и есаула Гамалия немедленно прийти в штаб. Срочно требуют,— пищит в трубке.

Я узнаю голос штабного писаря Окончука. Встаю позевывая, натягиваю черкеску и, уже на ходу пристегивая шашку, выхожу во двор. Персидское солнце палит немилосердно, и горячая неподвижная масса воздуха охватывает меня. По каменным плитам караван-сарая¹ лениво движутся редкие фигуры истомленных зноем казаков. Разморенный жаром часовой приходит в себя и, звеня шашкой, берет на караул.

Вот и жилище командира сотни. Собственно говоря, это просто глубокая и узкая ниша в массивной, полуторасаженной стене крепости, в которой мы стоим гарнизоном. Мы — это «лихой и непобедимый», как мы любим называть его, Уманский казачий полк. Полк входит в состав конного корпуса генерала Баратова, переброшенного осенью 1915 года в Северную Персию в связи с тем, что германские агенты развили лихорадочную деятельность в Тегеране, подготавливая угрожающее флангу наших армий вторжение в Персию турецко-германских сил.

«Квартира» командира лишена окон, в ней всегда горит ночник. Зато это самое прохладное место во всем Буруджирде, и

¹ Постоялый двор на Востоке.

мы, офицеры, часто укрываемся здесь от удушливой жары. Есаул лежит на походной кровати. В углу разбросаны хурджины¹. Рядом прислонен к стене короткий шведский карабин — трофей боя с персидскими жандармами у Саве. На табуретке — остывший чай, остатки курицы и разломанная плитка шоколада. Все так знакомо, так обычно. Так же, как у меня, как и у других.

— Иван Андреевич, вставайте, — бужу я.

— А? Чего? В чем дело?.. Это вы? — приподымая голову, бормочет Гамалий.

— Звонили из штаба: адъютант срочно вызывает нас по важному делу к полковнику.

Есаул садится на койке. Его ноги автоматически лезут в чувяки². Я смотрю на выразительное, красивое лицо Гамалия. В больших карих глазах — недоумение.

— Обоих?

— Да, вас и меня.

— Н-да... Черт его знает, зачем мы понадобились ему оба... Однако надо идти, — размышляет он, затем встает и кричит: — Трушко!

Из-за палатки, завешивающей вход вместо ковра, показывается круглое лицо денщика командира, казака Стеценко.

— Тащи воды и полотенце.

Стеценко не заставляет себя ждать. Есаул плещется, радостно фыркает, кряхтит от удовольствия. Через минуту мы уже идем быстрым шагом по кривым и узким улицам города, прорезанным чуть видными арыками. Жара проникает через легкую черкеску, и пот струйками стекает с лица, заползая под бешмет.

Вот и штаб полка, расположенный в здании бывшего немецкого консульства. У низких ворот мы долго стучим тяжелой кованой скобою о железный выступ калитки. (Наши дверные звонки здесь, на Востоке, не приняты.)

Гулко разносятся удары. Медленно приоткрывается «глазок», часовой узнает нас, и через секунду дверь со скрипом растворяется. Мы входим во двор, огражденный высокими азиатскими стенами. Внутри раскинулся красивый полуевропейский дом, напоминающий собою итальянскую виллу где-нибудь на берегах Адриатического моря.

¹ Двойные ковриковые сумы.

² Мягкие козловые сапоги.

Низкая терраса сбегает уступами и тонет в море белоснежных ароматных цветов. Вообще весь двор представляет собою сплошной фруктовый сад. Здесь и слива, и персик, и инжир, и стройные груши, и нежная тута. Вскоре мы будем вдосталь лакомиться их сочными плодами, если только к тому времени нас не перебросят куда-либо «по обстоятельствам военного времени».

На крыше здания развевается русский трехцветный флаг. У крыльца в землю воткнут полковой значок, красноречиво свидетельствующий о том, что здесь обитает «сам» командир полка — неугомонный, несуразный, но пользующийся общими симпатиями «батько Стопчан», как зовут его про себя казаки.

На террасе сидит полковой священник Церетели, пожилой тучный человек, заветная мечта которого получить наперсный крест на георгиевской ленте за военные заслуги. Батюшка приветливо кивает нам.

— Обедали? — задает он свой привычный вопрос.

Еда, перешедшая в обжорство, — единственное его утешение в этой глуши.

Спешим дальше, к адъютанту, чтобы узнать причину экстренного вызова.

— Либо нагоняй, либо пошлют опять сотню к черту на кулички, в далекую фуражировку, — вполголоса строит догадки Гамалий.

Едва мы показываемся на пороге, как Бочаров, наш адъютант, с таинственным видом отводит нас в дальний угол комнаты и шепотом говорит:

— Новость, господа, поздравляю! По распоряжению командира корпуса ваша сотня завтра выходит в Хамадан для выполнения крайне ответственного и секретного рейда в тыл противника.

Мы переглядываемся с есаулом. «Новость» и неинтересная, и мало для нас приятная.

— Только тсс, никому! — предупреждает адъютант. — Решительно никому! Не сообщайте пока даже вашим прапорщикам. Кроме полковника, меня и еще двух-трех офицеров, никто в полку не должен знать об этой командировке.

— Но позвольте, — басит Гамалий, — к чему же эта таинственность? Куда придется совершить рейд? Надеюсь, не в гости к турецкому султану?

— Не знаю, может быть, и в гости к нему, не знаю. — И тут же не выдерживает. Наклоняясь к нам, он шепчет: — За Багдад,

на соединение с англичанами. Радио от верховного главнокомандующего.

Мы поражены. Гамалий недоверчиво взирает на адъютанта, а я недоуменно перевожу глаза с одного на другого, еще не вникнув как следует в сущность сказанного...

— Да ведь до них больше тысячи верст,— наконец выдавливает Гамалий.

— А между ними и нами — турецкие корпуса,— добавляю я.

— Ну да, вот в этом-то и вся штука, други мои. Не будь турок, это было бы простой прогулкой,— ободряет Бочаров.

— Вот вы сами и прогулялись бы,— хмурится есаул. Ни ему, ни мне не улыбается это неожиданное путешествие.

— Ну, ладно,— принимая официальный тон, спохватывается Бочаров,— мое дело маленькое, можете сказать это лично командиру. Идемте к нему, господа, он вас ждет.

Мы следуем за адъютантом. Пройдя несколько комнат, входим в приемную командира. Это большая зала, вся увешанная и устланная чудесными сарухскими¹ коврами.

У дверей стоит караул с обнаженными шашками. Здесь полковой штандарт и денежный ящик. На почтительный стук адъютанта изнутри хрипит бас Стопчана:

— Войдите.

Командир, грузный пожилой человек с седеющими запорожскими усами, поднимается нам навстречу. Застегивая бешмет, он приглашает нас сесть.

— Надеюсь, не обидитесь, я уж попросту, по-стариковски. Петр Николаевич,— обращается он к Бочарову,— попросите сюда войскового старшину и принесите телеграмму корпусного.

Бочаров неслышно исчезает.

— Вы, наверно, уже знаете, в чем дело? — обращается к нам командир.

— Приблизительно,— бурчит Гамалий.

— Весьма неясно,— добавляю я.

— Сейчас узнаете все. Интересное, приятное, весьма приятное, даже завидное назначение, господа. Уверен, что многие пожелали бы быть на вашем месте. Вам, господа, предстоит совершить исторический рейд, соединиться в районе Багдада с союзными английскими войсками и затем вернуться назад. Вы

¹ Сарух — небольшое местечко Султан-Абадской провинции в Иране, где выделывают ковры.

подумайте — какое славное дело! Вы войдете в историю конницы как образчик беспримерного кавалерийского пробега через пустыни.

Сзади по ковру шуршат чувяки. Это войсковой старшина Кошелев и адъютант. После обычных приветствий мы садимся ближе к столу. Полковник, достав из папки телеграмму, негромко читает ее:

— «Из штаба корпуса... Ставка ком. корпуса, местечко Шверин. В штаб 1-го Уманского полка. Срочно, весьма секретно, шифр — „ЖЮДИ“.

Согласно секретному радиотелеграфному приказанию из штаба верховного главнокомандующего Кавказской армии великого князя Николая Николаевича предлагается вам немедленно же отправить в штаб корпуса, в распоряжение начальника штаба корпуса генерала фон Эрна, одну сотню вашего полка. Сотня должна быть в полной боевой готовности, на вполне здоровых конях и снабжена всем необходимым для долгого и утомительного пути. Сотня будет направлена через фронт и тылы турецкой армии, действующей против нас, на соединение с наступающими на Багдад английскими войсками. Выбор людей и офицеров зависит всецело от вас, хотя командир корпуса генерал-лейтенант Баратов предполагает, что уместно было бы послать в экспедицию вторую сотню вверенного вам полка под командой есаула Гамалия. Прибытие сотни в штаб корпуса ожидается не позже 6 часов вечера 27 апреля 1916 г. Подлинное подписал начштаба корпуса Генштаба генерал-майор фон Эрн».

— Понятно? — вопрошает Стопчан.

— Так точно, господин полковник! Только мне неясны маршрут, задача и срок возвращения обратно.

— Э-э, батенька, — перебивает есаула Стопчан, — это неизвестно и мне. Ясно одно: нужно собираться и сегодня же в ночь двигаться в поход. Ночи теперь светлые, прохладные, идти будет легко.

— Как быть с больными казаками? — спрашивает есаул.

— Много их у вас?

— Да человек двенадцать наберется. Малярия.

— Оставить в лазарете. Помимо сотенного фельдшера взять еще одного. Больные кони есть?

— Больных нет, но с набитыми спинами имеются, десятка два.

— Заменить из других сотен здоровыми. Пополнить неприкосновенные запасы боеприпасов и провианта, особенно консервов, взять побольше медикаментов, из штаба полка забрать

кузнеца с инструментом, пулеметы переложить на вьюки, вооружить гранатников. Словом, я на вас надеюсь, дорогой Иван Андреевич,— неожиданно заканчивает командир и пожимает руку Гамалию.— Ведь вы у нас украшение полка, и я горд, что сам командир корпуса указал мне именно на вас.

Гамалий краснеет. Ему, видимо, неловко от этих похвал. Его рука теребит георгиевский темляк на шашке, «золотое оружие», полученное им за бои под Сарыкамышем. Я знаю, что этот жест означает смущение Гамалия.

— А вас, сотник,— поворачивается ко мне Стопчан,— я вызвал как старшего после командира офицера в сотне, чтобы также ознакомить с положением. Я твердо уверен, господа, что вы с вашими молодцами казаками с честью выполните возложенное на вас задание и благополучно совершите этот трудный и необычный рейд.

Мы молча кланяемся.

— С богом! — Он обнимает нас, целует трижды крест-накрест и неожиданно кричит:— Филька-а-а!

В комнату влетает казак.

— Тащи, сукин кот, скорее квасу, да похолоднее! Вас, господа, не приглашаю к столу, ибо через три часа вам выступать.

Мы вытягиваемся, отдаем честь и, круто поворачиваясь налево кругом, выходим. Нам вслед несется рыкающий голос Стопчана:

— Только никому ни слова пока, ни звука!

Провожая нас, адъютант вручает Гамалию заранее заготовленные бумаги и приказ, из которого явствует, что мы уходим на месячный отпуск в свой тыл — в город Султан-Абад. Это выдумка хитроумного Бочарова, наивно верящего в то, что фальшивый приказ помешает толкам в полку и в городе по поводу нашего внезапного выступления.

Смеюсь про себя. Кто-кто, а штаб первый проговорится о нас. Как бы в подтверждение моей мысли попавшийся нам навстречу Церетели лукаво подмигивает и говорит:

— Вот счастливики! Попьете теперь настоящего виски. Не забудьте привезти и мне бутылочку.

Мы обещаем две и спешим обратно в караван-сарай.

Лицо Гамалия задумчиво. Видно, что неожиданное путешествие обеспокоило его.

— Справа по три, шагом ма-аррш! — командует есаул, и стройная развернутая шеренга ломается на ряд движущихся конных фигур.

Ворота широко распахиваются, и мы, нагибая головы, выезжаем на улицу. Позади сотни тянутся мулы, навьюченные пулеметами, двуколки с огнеприпасами, заводные кони. Дребезжит сотенная кухня.

Казаки других сотен высыпали во двор провожать нас.

— Ну, прощайте... покудова! — несется из рядов.

— Стецюк, Стецюк, напувай мово коня, — надрывается кто-то рядом.

— Хай його бис напувае! — гудит ответ.

Пропустив мимо себя сотню, выскакиваем вперед, выбираясь из глухих, неприветливых улиц города. Прохожие с любопытством оглядывают нас. Закутанные в черные чадры женщины кажутся темными тенями на фоне стен, к которым они жмутся с детьми. Наконец мы выезжаем на Хамаданскую дорогу. Отъехав версты три от ворот крепости, встречаем наш сторожевой пост. Телефонист чинит оборвавшийся провод; по мосту мерно шагает часовой; у привязанных к кустам коней сидят несколько казаков, с нетерпением поглядывая на закипающий котелок. Перекидываясь с ними словами, сотня проходит мимо поста. Родной полк остался позади. Впереди же — неизвестность.

Вверх-вниз, через холмы и ложбины, по крутым скатам гор тянется наш путь. Мы идем уже два часа. Время от времени есаул протяжно командует: «Сто-о-ой!», «Сле-е-зай!» — и вся сотня спешивается. Тогда мы либо стоим несколько минут на месте, либо ведем в поводу наших совсем еще свежих, непритомившихся коней. Это позволяет людям размяться, а отстающему сотенному обозу — нагнать нас. Еще совсем светло. Жара спала, и идти легко. Временами набегает ласковый, прохладный ветерок и обдувает запылившиеся усы и бороды казаков.

Пыльная дорога вьется по холмам. По краям ее — невысокие зеленые горы, покрытые частым лесом и с пролысинками на верхушках. Вдали, как в тумане, высятся синеватые горные хребты, на которых сплошной черной пеленой тянутся леса. По долине сверкает Чайруд, небольшая быстрая речонка, которую, однако, не везде можно перейти вброд: так быстро ее течение. Изредка попадаются горные села, прилепившиеся к склонам холмов. Над крышами приветливо курятся дымки. Вблизи пасутся немногочисленные стада овец и коз. Завидя нас, пастухи поспешно отгоняют скот в горы; собаки хрипло лают нам вслед. В селах снуют встревоженные жители.

Казаки уже «сыграли песни» и теперь молча едут вперед. Куда и зачем — их мало интересуется, так как за время войны они

привыкли к этим внезапным переходам. Сотня уверена, что ее посылают «на летучую почту» в Хамадан.

Постепенно даль начинает темнеть. Горы медленно растворяются в синеватой дымке. Горизонт не кажется уже таким далеким, и холмы ближе подступают к нам. Сильнее шумит Чайруд, и прохладнее вечерний ветерок. На темном фоне неба блеснула звезда, другая. Ночь окутывает нас.

Есаул хранит молчание. Время от времени он набивает свою носогрейку английским табаком, и сладковатый, приторный запах «кэпстена» кружит мне голову. Прапорщик Зуев, молодой, недавно выпущенный из училища офицер, едет сзади меня, не решаясь прервать молчание. Зуев — славный и милый мальчик, еще ни разу не побывавший в бою. Хотя два или три раза он попадал в разведках под обстрел, но о них он сам отзывается с пренебрежением и жаждет участвовать в «настоящем сражении».

— Борис Петрович! — обращается ко мне есаул. Я чуть подталкиваю коня. — За этими холмами должна быть деревня Салавчаган. Там мы переночуем — и снова в путь. Пошлите прапорщика с квартирьерами вперед.

Я отдаю приказание, и через минуту Зуев с десятком казаков на рысях обскакивают нас и исчезают в темноте.

Проходим еще версты три, спускаемся с холмов в долину, переходим мост. Стало совсем темно. Молодая луна косится на нас из-за горы. Впереди мелькают огоньки, чернеют кущи деревьев, лают невидимые собаки и отчетливо, близко-близко, пахнет дымом и жильем. Это — Салавчаган. Нам навстречу выезжают верховые, слышатся голоса.

— Это квартирьеры?

— Так точно! Они. Пожалуйста сюда, ваше благородие! — несется из темноты голос казака Сироты.

Ночуем на всякий случай все вместе в большом дворе. Вахмистр обходит казаков и выставляет на ночь караулы. Ржут кони, шумит подошедший обоз. Казаки развьючивают коней — расседлывать нельзя — и располагаются на ночлег. Горят костры, вскипает чай. Понемногу шум голосов утихает. Поужинав, мы ложимся спать.

— Вашбродь, вашбродь, вставайте! Сотня уже посидала на коней, — слышу я голос Пузанкова.

Открываю глаза. Низкая, полутемная халупа, кругом грязь. Есаула уже нет. Я вскакиваю, наскоро умываюсь холодной как лед водой и спешу к коню. Сотня выстраивается. Обоз высту-

пил раньше, следы от двуколок ведут к воротам. Несколько любопытствующих крестьян не без удовольствия наблюдают за нашими приготовлениями к отъезду. Наконец все готово, и мы снова в пути. Как и вчера, плывут по горам облака. Густой сырой туман ползет по скалам, цепляясь за камни и утесы. Солнце быстро поднимается над горизонтом. Деревня давно проснулась, но молчит, притаившись в своих глухих дворах, укрывшихся за высокими стенами.

Отдохнувшие кони весело рвутся вперед.

Мой Орел слегка горячится, закусывает удила. Деревня скрывается за поворотом.

Снова пыль, снова холмы и снова грязный ночлег в персидском селе.

Не записывал трое суток: не было времени...

Идем походным порядком. Как всегда, впереди дозоры, за ними, саженьях в двухстах, мы, офицеры, за нами сотня, а за нею пулеметы и обоз. Мы так растянулись, что издали нас можно было принять за целый дивизион. Все идет обычно, если не считать маленького неприятного происшествия в селе Сарух. Пятеро подвыпивших казаков утащили из лавки торговца пару мешков с кишмишем. Утром похищение обнаружилось. Прибежал взволнованный кятхуда¹ и с ним несколько персиян. Что-то кричали, просили, плакали, указывая руками на небо. Я видел, как был взбешен Гамалий, как перекосилось его обычно спокойное лицо. Но было уже поздно, надо было выступать. Есаул дал два тумана² потерпевшим, быстро утешившимся, так как эта сумма с лихвой покрывала их убытки, и, бросив гневный взгляд на казаков, скомандовал: «Вперед!» Казаки радовались, что спешность похода помешала командиру произвести дознание, иначе виновным не поздоровилось бы.

Следующая ночевка была в Сенне, а на другой день ровно в четыре часа мы вошли с северной стороны в Хамадан. Больше часа плутали мы по его грязным, кривым улицам, тщетно расспрашивали всех попадавшихся навстречу солдат, казаков и персов о том, как попасть в Шеверин. Наконец, потратив много времени на расспросы и утопая в глубоких лужах, мы кое-как выбрались на главную улицу, а оттуда, свернув на широкую

¹ Староста.

² Персидская серебряная монета двухрублевого достоинства.

аллею, густо обсаженную вековыми тополями, направились в Шеверин, где расположился штаб корпуса.

По дороге сновали конные и пешие солдаты, проносились блестящие автомобили, скакали щеголеватые драгуны. Мелькали белые косынки сестер милосердия. Словом, ясно чувствовался глубокий тыл и близость большого штаба.

Аллея повернула влево, и нашим взорам представилось небольшое село, обнесенное высокой глиняной стеной средневекового типа, с бойницами, амбразурами, боковыми башнями, выступами и контрфорсами. По ней прогуливались сугубо штатские фигуры, с любопытством поглядывавшие сверху вниз на наш отряд. Через широкий пролет раскрытых настежь ворот было видно, как во дворе снуют солдаты, стоят расседланные кони и распряженные повозки.

Мы подтянулись, подождали отставших и справа по три ровной, стройной колонной вошли во двор. Десятки любопытных и ротозеев сбежались навстречу нам.

— Эй, земляки! — крикнул Гамалий, обращаясь к ним. — А где здесь штаб корпуса?

Земляки молчали, поглядывая по сторонам. Наконец один из них лениво и неохотно промямлил:

— А кто ё знат, мы нездешние.

Этот ответ разозлил казаков:

— «Нездешние»... крупа окаянная! Как кашу жрать, так здешние, черти не нашего бога!

Солдаты лениво огрызались:

— Не лайся, куркули собачьи. С обозом нонече сами пришли.

К нам подлетел разбитной драгун Нижегородского полка.

— Оставьте их, ваше благородие, это «крестики»¹, они ничего не знают тут. Ежели вам в штаб корпуса, то вот по этой улочке все прямо извольте ехать до парка, а в самом парке, значит, и штаб корпуса расположен.

— Спасибо, братец! — говорит Гамалий, и сотня под равнодушными, безучастными взглядами «крестиков», свернув в улочку, двинулась в указанном направлении.

Через пять минут мы въехали в тенистый парк, посреди которого стоял красивый дворец. Сквозь ветви деревьев можно было разглядеть реявший над крышей флаг. Здесь находилась ставка командира корпуса генерала Баратова.

¹ Ополченцы, носившие на фуражках металлические кресты.

— Вниз по аллее, в расположение конвоя генерала, прямо, все прямо, пока не увидите коновязи и палатки, разбитые в кустах. Это и будет отведенное вам место,— любезно сообщил молоденький адъютант, вышедший навстречу нам из дежурной.

— Ведите сотню на место и располагайте ее там, а я пойду к начальнику штаба с рапортом о прибытии. Может быть, узнаю что-нибудь новое.— С этими словами Гамалий сошел с коня и, передав его вестовому, направился в дом.

Я подъехал к поджидавшей невдалеке сотне и, следуя по аллее, скоро нашел конвой командира корпуса, состоявший из сводной сотни полков 1-ой дивизии.

Наша сотня спешила и разбилась на маленькие взводы-квадратики. Поодаль расположился обоз.

Над походной кухней поднялся дымок, и длинные ряды коновязи обозначили наше расположение. Казаки забегали по аллеям, обозные бросились «раздобывать дровец для кипятку».

Пузанков и Горохов, вестовой командира, возятся возле наших выюков, снимая их с коней. Рядом казаки разбивают палатку для господ офицеров. Словом, и на новом месте мы чувствуем себя как дома. Надолго ли? Подходит вахмистр Лукьян Никитин, рыжий детина с добрыми, внимательными глазами.

— Разрешите, вашбродь, каптенармусу в штаб пойти.

— Разрешаю.

— А что, к примеру сказать, долго мы здесь простои́м али, может, завтра и дальше?

— Не знаю,— отвечаю я,— вот придет командир, тогда узнаем.

— Надо быть, пойдём,— решает он.— А куда неизвестно?

— Неизвестно.

Лукьян добродушно смеется:

— А нам известно, вашбродь. Вон Вострикову уже сорока на хвосте нагадала, будто в обход пойдём.

Казаки улыбаются. Приказный Востриков, балагур, забияка и отчаянный хвастун, но вместе с тем и храбрый казак, не теряется:

— Кому на хвосте, а кому и на кукане.

Казаки не выдерживают. Хохочут все, даже свысока глядящий на строевых сотенный писарь Гулыга невольно улыбается.

— Что такое «кукан»? — спрашиваю я.

Хохот усиливается:

— Про кукан вам расскажет Лукьян, потому как он ищерский, а ищерские ребята козу с попом хоронили,— быстро ба-

рабанит Востриков, окидывая прищуренными глазами хохочущую аудиторию.

— А ну тебя,— сплевывает вахмистр,— одно слово — балаболка. Скрипит, как чеченская арба.

— А на той арбе едут гости к тебе, упреди поп, протирай лоб, позади попадья, а в середке коза. А ищерцы, хваты, теплые ребята, козу за архирея приняли, залезли на колокольню — да в колокол... Бум! Бум! Народ сбежался. «В чем дело? Что за шум?» — «Архирея, грит, ожидаем». Подъехали, а вместо архирея — поп с козой...

— Хо-хо-хо!..

Казаки ревут от восторга, даже сам Лукьян смеется, машет рукой и сквозь слезы кричит:

— А ну тебя!

Рядом весело заливаются прапорщики Зуев и Химич.

Постепенно казаки расходятся. Ушел и вахмистр. Ужин готов, чай закипает, и в сторону кухни тянутся десятки вооруженных мисками и котелками людей. Другие в ожидании еды достают соль, режут хлеб, вытаскивают ложки. Пузанков вынимает из сумки жареную курицу, и мы — я, Химич и Зуев — принимаемся за еду. У Химича нашлась в баклаге арака. Она крепка, неприятна на вкус и к тому же отвратительно пахнет, но тем не менее мы с удовольствием пьем этот зверский напиток.

— Вашбродь, а лепешки к чаю давать? — спрашивает Пузанков.

«Лепешки» — это бисквиты «Гала-Петер», которые он по своему, по-станичному, упорно принимает за «кругляши»¹. Мы едим их, пьем чай с клюквенным экстрактом, болтаем о всяких пустяках и с нетерпением ожидаем возвращения есаула. Оба прапорщика догадываются, что мы уходим в какой-то необычный рейд, и эта таинственность еще больше интригует и волнует их.

— А у меня, Борис Петрович, здесь знакомые,— сообщает Зуев,— сестры из лазарета «Союза городов»². Если хотите, вечером проедем к ним в гости, они будут очень рады нам.

Я улыбаюсь, глядя на зардевшееся лицо юноши. Он окончательно смущается.

¹ Домашние лепешки.

² Организация городской буржуазии, созданная в 1914 году для помощи правительству в деле ведения войны.

— Ей-богу, вы не подумайте ничего дурного, — торопится уверить он. — Одна из них — моя двоюродная сестра, а другие — ее подруги.

Но мне и в голову не приходит мысль дурно истолковать его желание. Вот уже почти два года, как мы оторваны от наших семей, от привычного нам круга молодежи, скитаемся по фронтам, тянем скучную лямку в глухих, заброшенных уголках. Все мы огрубели и чувствуем непреодолимую потребность в женском обществе.

Химич пытается грубовато сострить, но, прочитав в моих глазах неодобрение, умолкает.

Химич — прапорщик из казаков. Это бывший вахмистр, оставшийся на сверхсрочной службе. Он хитрый, очень неглупый, упрямый человек. Я его люблю за мужество и прямоту, а Гамалий — еще и за отличное знание службы. Химич — знаток уставов и строевых занятий; грудь его украшена четырьмя солдатскими Георгиями, и я думаю, что скоро у него будет и пятый — офицерский. Казаки недолюбливают его, вероятно, за строгость и требовательность и за глаза называют «шкура-прапорщик».

Из конвоя пришел казак с запиской. Это офицеры просят пожаловать к ним часам к десяти вечера, поужинать.

«Поужинать» — значит хорошенько выпить, вдоволь посплетничать о штабных делах и затем до самого утра дуться в девятку и в шмен-де-фер¹. Мы благодарим за приглашение и обещаем быть.

Наконец по аллее стучат копыта. Это рысит Гамалий. Есаул слезает с коня, оглядывает казаков, обходит коновязь, смотрит за вечерней уборкой и, справившись, хорошо ли поужинали казаки, идет к нам в палатку.

— Чайкю бы, — говорит од.

«Чайкю» — свидетельствует о хорошем настроении. Есаул просит «чайкю» обычно тогда, когда он доволен всем. Он жадно глотает полуостывший чай, затем засовывает в рот полплитки шоколада и, с хрустом разжевывая его, сообщает:

— Ну-с, друзья, приятная новость. Выступаем только через три дня. За это время отдохнем, повеселимся, поухаживаем, а потом... — он понижает голос, — в путь.

— Куда? — замирая от нетерпения, спрашивает Зуев.

¹ Азартная карточная игра.

— На кудыкину гору, в славный стольный град Багдад.

Оба прапорщика улыбаются, они принимают слова есаула за шутку.

— Да, да, в Багдад — через фронт и тылы неприятеля, на соединение с англичанами.

Химич застывает в непередаваемой позе, а Зуев вскакивает и долго трясет руку Гамалию.

— Ну, ну, вы, рябчик, не оторвите мне руку, бо она еще пригодится, — шутит есаул, — да, кстати, не волнуйтесь, а не то проговоритесь раньше времени.

Мы окружаем Гамалия, и он вполголоса начинает рассказывать о нашем маршруте, водя карандашом по карте. Названия неведомых нам мест слетают у него с уст десятками. Здесь и Луристан, и Курдистан, и пустыня Лут, и оазис Хамрин, и еще целый ряд таких же странных, экзотических имен. Химич молча, сосредоточенно слушает, внимательно следя задвигающимся по карте карандашом. Зуев полон задора и молодого веселья. Радость его, видимо, не знает границ, и вряд ли он сейчас понимает то, о чем рассказывает Гамалий.

Наконец есаул кончил. Мы лежим на кроватях, закинув руки за головы, и каждый мысленно представляет себе будущий путь... Начинает темнеть.

— Ну-с, господа, а теперь давайте обдумаем, что мы будем делать сегодня, ибо эти три дня полностью даны нам для веселья.

Зуев горячо доказывает, что если он сегодня не посетит лазарета, то все сестры во главе с его кузиной будут кровно обижены, и приглашает нас отправиться с ним. Химич дипломатически молчит. Я напоминаю о приглашении офицеров конвоя. Гамалий добродушно смеется:

— Ну ладно. На то и поп в станицы, щоб булы у дивок паляницы. Я останусь, а вы, хлопцы, идите до ваших сестриц, только чур не грешить та не засиживаться. А писля ступайте до конвойских.

Вечереет. Зажигаются огни. Издалека несутся звуки гармошки: за парком веселятся пограничники. Казаки тихо тянут заунывные станичные песни.

Ой, та из-за моря Хвалынского... —

звонко и с чувством выводит подголосок.



Ржут кони, и за палаткой с кем-то вполголоса разговаривает Пузанков.

— А ты б ему, черту, на пузо коленкой наступил,— советует он.

— Да, ему наступишь. Он, стерва, как вцепился зубами в руку — насилиу оторвали,— жалуется незнакомый мне голос.

Оба отходят, голоса затихают. Со стороны дворца гудят рожки автомобилей и неясно несется: «Здрав желаем... ваш... приство!»

Я засыпаю...

Часов в девять мы остановили коней у высокой стены, над которой ярко горело несколько керосиновых ламп, освещая большую железную вывеску с аляповатой, незатейливой надписью: «Лазарет номер четыре Всероссийского союза городов». Мы соскочили с коней. Солдат-дневальный, сидевший у ворот, не спрашивая у нас ни пропуска, ни причины нашего визита, молча открыл ворота и пропустил нас внутрь. Такие наезды, как видно, были здесь не в диковинку. Перейдя двор, мы поднялись по лестнице и, следуя за прапорщиком, вошли в большую светлую комнату, где за столом сидела дежурная сестра. Дежурная была низенькая полная старушка с добрыми живыми глазами. Она указала номер комнаты сестры Буданцевой, кузины Зуева, и через несколько минут мы сидели в просторной комнате с множеством фотографий на стенах, с белыми кружевными накидками на постелях и чистой скатертью на столе. Шелковые цветные материи украшали стены, расписной мягкий ковер лежал на полу. Было тепло, уютно и как-то необычно. Пахло одеколоном и сиренью, цветы которой глядели отовсюду. Чистота, покой и уют смутили нас. Мы так давно не пользовались ими, что чувствовали себя неуверенно и робко в этой забытой уже нами обстановке. Три хозяйки комнаты, милые молодые и веселые девицы, любезно встретили нас и засыпали градом вопросов.

— Петя, скверный мальчишка, не мог заранее предупредить, свалился как снег на голову! — жаловалась сестра Зуева, весело поблескивая глазами и кокетливо улыбаясь.

Несмотря на то что я довольно скоро освоился с обстановкой и уже через полчаса держался непринужденно, все же чувство неуверенности не совсем покинуло меня. Химич, еще больше, чем я, стеснявшийся женщин, пил без конца чай, крях-

тел и смущенно улыбался. При каждом вопросе, обращенном к нему, он краснел и односложно, неловко повторял: «Так точно... Да, да... Нет... Благодарствуйте...»

Мне было жаль бедного прапорщика, хотя я чувствовал, что и сам недалеко ушел от него. Наконец коньяк, неизвестно откуда появившийся на столе, поднял общее настроение, и я после трех-четырех рюмок «Мартея» вошел в свою колею.

Больше других понравилась мне кухня Зуева, хорошенькая смуглая вертушка с ослепительно белыми зубами и полными округлыми руками. Не знаю, как и во что вылилось бы наше посещение, если бы дежурная сестра не предупредила, что приехал старший врач и что возможен ночной обход.

— Пустяки... пустяки... Это все болтовня. Оставайтесь! — шептала мне Буданцева.

Но, не желая вызывать нареканий начальства по адресу сестер, я твердо решил уехать.

— Ну, глупенький, куда же вы теперь поедете? — улыбалась Буданцева.

Я пересилил себя и пообещал завтра снова вернуться, поцеловал ручки сестер и вышел.

Когда мы садились на коней, по лестнице грузно поднимались какие-то военные, не совсем твердый голос говорил:

— А какое там вино... и... и... и... батенька, просто пальчики оближете, а шашлы-ык, честное слово, язык можно проглотить...

Другой что-то утвердительно промычал в ответ. Кажется, мы на самом деле напрасно поспешили с отъездом.

Проехав несколько сажень, мы остановились в раздумье. Было около одиннадцати часов, ехать обратно в Шеверин не хотелось. Несколько секунд мы молчали, придерживая коней. Наконец Зуев, чаще нас бывавший в Хамадане и лучше знакомый с городом, предложил:

— Едемте в ресторан, здесь совсем неподалеку, на площади Сабзе-Майдан, есть очень уютный небольшой ресторанчик, при котором находится и игорный дом. И то и другое содержит какой-то грек.

Мы раздумываем. Зуев продолжает:

— Иногда бывают и женщины, главным образом проезжие сестры.

Решили ехать. Снова по уснувшим улицам цокают копыта наших коней. Изредка встречаются одинокие прохожие, раза два мимо проехали конные, на скудно освещенных перекрест-

ках стоят одинокие испуганные полицейские. Мы едем мимо лениво бредущих солдат. Наконец кривая улочка поворачивает на большую четырехугольную площадь с парком посередине. Сейчас парк пуст и чернеет во мгле. В нем журчат невидимые ручьи и плещется вода: это фонтан и водоемы.

Яркие огни освещают окна домов. Сабзе-Майдан — торговый центр и нерв европейской части города. Здесь расположены почти все гостиницы, носящие громкие имена. Тут и «Пале-Рояль», и «Париж», и «Лондон», и даже странная вывеска «Тифлисский Тилипучури». Мы останавливаем коней у «Лондона». Приветливо горят огоньки, мелькают фигуры. Несколько оборванных нищих подбегают, кланча подавание. Вестовые отводят коней. Поднимаемся наверх. Комната, за ней другая с буфетом и стойкой, дальше большой зал с двумя серыми колоннами. На полах ковры, на стенах зеркала, два трюмо и ряд дешевых олеографий, помещенных в безвкусные золоченые рамы. Большой фикус стыдливо прячется в углу, заменяя собой пальму. Все залито светом газовых фонарей, газ шипит и потрескивает. Из зала несется гул.

Проходим в зал. За столиками сидят посетители. Преобладают военные, мелькают защитные френчи и рубашки земгусаров¹, иногда белым пятном вырисовывается косынка сестры. В зале шумно, душно и накурено. Под потолком немолчно гудит большой вентилятор. Между столиками снуют лакеи. Посетителей обходит хозяин ресторана грек Мавропуло, и его феска алым маком проносится по комнате. Садимся, заказываем ужин и предварительно выпиваем холодной водки. Химич крикает...

— Вот это да! — решает он. — Лучше нет, как водка на льду, да если бы сюда хоть шматочек красного перцу, прямо было бы пей — не хочу.

Гул растет. Я оглядываюсь. Все незнакомые, чужие лица. Женщин очень немного, да и те не обращают на мои взгляды никакого внимания. С горя принимаюсь за еду. Звенят ножи. Химич сочно чавкает, уплетая шашлык по-карски. Зуев, обычно ничего не пьющий, поддается общему настроению и пьет красное вино бокал за бокалом. Время бежит... Химич вспоминает об ожидающих нас на улице вестовых и, подозвав грека, приказывает приготовить для них три шашлыка с вином.

¹ Презрительная кличка служащих «Земского союза» и «Союза городов», обслуживающих тыл армии во время мировой войны.

Скоро полночь. Столики постепенно пустеют, часть гостей разъезжается, некоторые проходят через зал мимо нас.

— Это в игорную комнату,— говорит, поводя глазами, оловелый Зуев.

Наконец встаем и мы. Прапорщик почти пьян. Я и Химич бережно ведем его к выходу. Вдруг он делает движение и говорит неестественно трезвым голосом:

— Господин сотник, разрешите мне поиграть в карты...

— Полноте, молодой...— уговариваю я.— Не стоит, едемте-ка лучше домой, баиньки.

— Никак нет! Я хочу играть.

Он упирается и тянет нас в игорный зал. Химич нерешительно говорит:

— Борис Петрович, а что, если взаправду по маленькой сыграть? Греха не будет, а может, повезет.

Мне самому не хочется домой, я слабо протестую и иду за моими неверными спутниками.

Игра в полном разгаре. За столиками сидит самое разнообразное общество: здесь и офицеры, и земгусары, и два каких-то доктора, и ряд штатских лиц. Некоторые сидят за столами, другие прохаживаются по комнате и заглядывают к ним в карты, иные толпятся у столов. Дым клубами носится над людьми. Тихо. Говорят сдержанным шепотом, мерно и деловито звучат голоса банкометов, приятно звенят туманы и шуршат, как шелк, бумажки. Мы садимся за общий стол. Услужливый крупье подбегает нам карты. Я бросаю на стол пятьдесят рублей, Химич роется в бумажнике, Зуев опускается на стул и мгновенно засыпает непробудным сном.

Время идет. Игра сильнее и сильнее захватывает меня. Многие ушли, оставшиеся с оловелыми лицами продолжают играть. Нам не везет. И я и Химич проигрываем. Из семисот рублей, отложенных мною на отпуск, осталось не более ста. Химич волнуется, рвет карты, поминутно лезет в карман и, зверски ругаясь, бросает на стол скомканные ассигнации. Деньги текут к каким-то двум очень любезным и весьма предупредительным субъектам. Наши карты регулярно бывают биты. Постепенно за столом остаемся лишь мы, оба банкомета и еще три-четыре неизвестных офицера. Игра продолжается. Я вообще всегда проигрывал, но так, как сегодня, никогда не случалось. Сдерживаю волнение. Иногда один из партнеров встает, отходит к стойке, выпьет, подкрепитсЯ и снова возвращается к нам. Дым плавает по комнате. Ресторан пустеет, и только мы, да два-три

пьяненьких доктора и земгусары продолжают вести неравную, но отчаянную игру. У меня остается рублей двадцать пять. Химич неистощим. Скомканные, неровные сторублевки, розоватые четвертные и серые полусотни сыплются из его карманов дождем, словно из рога изобилия. Я встаю, пью у стойки сельтерскую и прохожу в уборную. Мои чувяки неслышно ступают по полу. У самых дверей я неожиданно слышу шепот, узнаю осторожный хриплый голос грека, хозяина:

— Довольно... Надо закрывать... Кончай играть.

Ему возражает чей-то ласковый голос:

— Еще рано. Еще хоть полчаса... У второго казака много денег... Подожди еще полчаса.

Я узнаю голос моего партнера по игре.

— Нельзя, довольно. Проиграет все — скандал будет, — уговаривает грек.

Я припадаю к щели уборной. Два человека, чуть озаряемые ночником, еле слышно беседуют между собой. Наконец грек соглашается, его собеседник вынимает из кармана колоду карт и начинает подтасовывать ее. Я отскакиваю от щели и так же неслышно исчезаю в дверях. Игра идет тем же темпом. Сейчас Химичу немного повезло, и его бледное лицо оживилось. Указывая на пачку ассигнаций, лежащих перед ним, он гордо говорит:

— Карта не кобыла, к утру повезет.

На оттоманке, разметавшись, безмятежно спит Зуев; сладко посапывает, свесив голову на зеленую грудь, заснувший на стуле земгусар. На столах карты, остатки неубранной еды, откупоренные бутылки, кучки денег и бледные, жадные, трясущиеся руки игроков. На полу белеют кусочки разорванных Химичем карт. Хмурый, неуверенный рассвет лезет в окна. Грек со сладкой улыбочкой подходит к нам.

— Господа офицеры, еще полчаса... *c'est impossible*, а потом я закрывай свой заведений. Нон, нельзя, — любезно скаля зубы, улыбается он.

— Какой черт полчаса! — грубо говорит Химич. — Ободрали как липку, да еще полчаса. Валяй до конца — или верну все, или проиграю.

Я тихонько спрашиваю его:

— Откуда у вас столько денег?

Он минуту молчит, потом с отчаянием смотрит на меня и еле слышно выдавливает из себя:

— Казенные... сотенные.

Грек наклоняется к нам и снова бормочет:

— Месье, нон, нельзиа, один полчаса можно.

— Хорошо, только полчаса, нам хватит и этого времени,— говорю я.

Химич с недоумением смотрит на меня. Входит второй, находившийся в уборной банкомет и садится рядом со мною. Игра продолжается. В банке две тысячи сто рублей. Очередь доходит до меня. Я коротко говорю: «Банк». Химич ахает, банкомет любезно кивает головой. Мой сосед протягивает руку, чтобы перетасовать колоду. В ту же секунду, схватив его за руку, я изо всей силы ударяю по ней рукояткой нагана. Шулер, ахнув от боли, визжа, падает на пол. Из его руки выскакивают карты и веером разлетаются по столу.

Прапорщик вскочил.

Грек быстро скользнул к двери, но Химич одним прыжком опередил его и заслонил телом проход. Игроки, волнуясь, вскочили.

— Накладка, смотрите, господа, шулерская накладка,— возмущается земгусар, разглядывая карты, которыми шулер пытался накрыть колоду.

— На пять рук сработал, негодяй! — негодует доктор.— Бить их надо, подлецов!

Оба шулера растерянно прижимаются к окну, испуганно оглядывая комнату и ища щель, в которую можно бы нырнуть. Грек, размахивая руками, суется около нас, перебегая от одного к другому и жалобно уверяя:

— Нон, нон... Это не зулик, это ошибки. Я очень хорошо знаю этот человек.

Лицо Химича медленно наливается кровью:

— Молчи, гадина!..

Грубо, по-казацки выругавшись, он с размаху ударяет по шее грека.

Зуев, который мирно спал сном праведника, вскочил, разбуженный шумом, и, еще не понимая, в чем дело, неистово завопил:

— Бей их, кроши супостатов!

Выхватив наган, он не останавливаясь выпалил все семь зарядов в низенький, нависший над нами потолок. Сверху посыпалась отбитая штукатурка, и с мягким треском разлетелась вдребезги висячая лампа, в которую угодила одна из пуль неистового прапорщика.

— Господа, да довольно же! — испуганно закричал доктор.

— Зуев, довольно! Прекратить! Ну-с, фендрик, вам говорят прекратить! — рявкнул я, хватая за плечо осатаневшего прапора.

— Слушаю, господин сотник! — хрипло сказал он.

— Прапорщик, обыскать шулеров и отобрать деньги.

— Слушаю-с! — радостно ответил Зуев.

— Позвольте, господа, это же произвол, это же ни на что не похоже, — попытался было запротестовать один из земгусаров. — Господин поручик, — обратился он ко мне, — по долгу и совести мы не можем допустить этого.

— Вон! — в бешенстве закричал я.

Химич ринулся к земгусару, еще секунда — и оба, и доктор, и земгусар, пуль вылетели и не останавливаясь промчались через зал.

— Всё, — сказал Зуев, сгребая отобранные бумажки.

— Ладно. А теперь домой, — скомандовал я.

Проходя мимо стойки, Химич остановился, секунду размышлял, затем, снова выдернув шашку, изо всех сил ударил ею по целой серии всевозможнейших уставленных в ряд бутылок. Звеня и дребезжа, разлетелись осколки. Разбитая посуда запрыгала по полу. Густой ароматной рекой потекло разноцветное вино, заливая стойку и скатерти, ручейками стекая на грязный пол.

Когда мы сходили вниз, где-то во дворе прошмыгнули две испуганные тени. Вестовые подали коней.

— А что, вашбродь, задали перцу жуликам? — полюбопытствовал Тарасюк.

Получив утвердительный ответ, он сказал:

— Так им и надо, гадам, ще мало...

Мы тронули коней, к нам не спеша подошел патруль. Молоденький прапорщик, взяв под козырек, спросил:

— Простите, господин поручик, вы, случайно, не знаете, что это за крики были в этом ресторане? Мы патруль военной полиции и совершаем ночной обход.

— Это... А это мы проучили немного двух шулеров, — равнодушно ответил я.

Прапорщик засмеялся:

— И хорошо?

— Да, как следует, — подтвердил Зуев.

— Мало не будет, — добавил Химич.

— Ну, пока всего, — трогая коня, сказал я.

— Спокойной ночи,— прикладывая к козырьку руку, попрощался прапорщик.

Мы погнали коней. Было совсем светло, но все еще спало, и только одинокие, бездомные псы уныло бродили по кривым улицам Хамадана.

— Получите ваши семь тысяч рублей,— сказал я, протягивая Химичу пачку пятисоток, с которых косился на нас хмурый Петр.

Я продолжаю считать. Сбоку сидит Гамалий, из-за его спины выглядывает веселая физиономия Зуева. Сейчас прапорщик опять похож на красную девицу, и при моих воспоминаниях он краснеет и смущенно бормочет:

— Ну уж вы, Борис Петрович, на меня поклеп возводите.

Хорош поклеп! Не хотел бы я попасть к этому юнцу в минуты его садического исступления. В его больших серых глазах всегда горит какой-то тревожный, больной блеск. Недаром отец Зуева, неожиданно для семьи, сошел с ума, а старший брат так же неожиданно повесился.

Химич старается не глядеть в глаза Гамалию. Есаул молчит и не пытается расспрашивать меня о деталях происшествия, но я, хорошо знающий его, чувствую, что он глубоко негодует на нас.

— А вот и украденные у меня семьсот рублей,— говорю я,— придвигая к себе небольшую пачку денег. На столе остается еще довольно значительная сумма.

— А что вы намерены делать вот с этими деньгами, украденными моими славными офицерами! — улыбаясь, говорит Гамалий, но глаза его вовсе не смеются, в них я читаю холодный гнев.

— Да думаю передать в Красный Крест,— говорю я также спокойно, хотя меня охватывает смущение.

— Вот именно, самое подходящее для них место. Отнять у вора, у шулера и передать в Красный Крест...

— А куда же? — растерянно спрашиваю я.

— Вот куда! — сухо отрезает есаул.

Его рука сгребает ассигнации и одним судорожным движением кидает их в огонь, который теплится в мангале¹, тут же, у наших ног. Бумажки трещат, свертываются, по ним пробега-

¹ Жаровня, употребляемая обычно для согревания помещения.

ют огненные язычки, и они слабо, как бы неохотно вспыхивают неровным синеватым огнем.

Химич, выпучив глаза, не сводит взора с пылающих бумажек. Зуев рад. Его глаза горят ярче, чем эти деньги.

— А теперь, господа, я просил бы вас оставить меня наедине с сотником,— продолжает Гамалий.

Зуев и Химич исчезают. Мангал догорает, и деньги, превращенные в пепел, черной кучкой виднеются на золотых раскаленных углях.

Минута проходит в молчании. Затем есаул говорит:

— Сегодня нас приглашают на обед к командиру корпуса. Обед званый. На нем будет вся штабная знать, английские представители, дамы — словом, весь «двор», окружающий генерала Баратова.

Я теряюсь: никак не мог предположить этого разговора.

Гамалий продолжает:

— К вечеру получим инструкции, а завтра с рассветом в путь.

— Завтра в путь? — с удивлением восклицаю я.

— Ну да. Разве я не говорил вам? Обещанные вчера три дня уже сократились. Получены новые сведения: турки развивают свой успех на месопотамском фронте, и английское командование настойчиво торопит нас. Господа союзники, по-видимому, в расстройстве и рассчитывают на наш рейд как на своеобразный допинг, который должен подбодрить английские войска.— Есаул криво усмехается, покусывая губу.

— Ну что же, Иван Андреевич, и то хорошо. Сегодня — во дворец, а завтра — в дорогу.

Гамалий добродушно смеется:

— Именно, из дворца прямо в поход.

Удивительное влияние имеет на нас всех этот человек. Моя злость растаяла как дым. Он встает и, потягиваясь, говорит:

— Ну, треба пойтить побачить коней.— И, приятельски хлопывая меня по плечу, продолжает: — А на меня не сердитесь, гадкий случай... мерзкий. Уверен, что вы сами, вспоминая о нем, краснеете. Пусть лучше Химич проиграл бы все казенные деньги, мы бы сложились, заняли и покрыли этот проигрыш, было бы лучше и для вас, и для него. А теперь черт знает что... Гадость...

Он брезгливо морщится и идет к выходу. У дверей оборачивается и говорит:

— Ну больше, друже, ни слова, хай ему бис. Ничего не было.

Через несколько минут в палатку осторожно просовывается голова Химича:

— Борис Петрович, а Борис Петрович!

Я гляжу на него.

— Ругал? — делая испуганно-глупые глаза, любопытствует прапорщик.

— Нет. Говорил о поездке.

— Ну-у,— недоверчиво тянет он.— А я думал, что он проглотит вас.

— А ну вас к черту! — внезапно раздражаюсь я.

Бедный Химич глупеет окончательно и моментально втягивает обратно голову. Я сижу мрачный, не отрываю глаз от потухших и покрывшихся золою углей. Черные катышки денег лукаво смотрят на меня и неслышно шепчут: «Поделом... поделом...»

Алаверды, господь с тобою,—
Вот слова смысл, и с ним не раз
Готовился отважно к бою
Войной взволнованный Кавказ...—

сладко заливается тенор солиста-казака, и мягко, в тон ему, гудят басы, рокочут баритоны. Дирижирует высокий полный подхорунжий. В его руке дрожит камертон. Это регент конвойского хора, составленного из наиболее голосистых казаков дивизии. На груди у большинства из них белеют серебряные Георгиевские крестики.

— За аллилуя получили,— острят над ними казаки.

Певцы выражены в синие черкески из прекрасного сукна и белоснежные барашковые папахи. Люди подобраны под один рост. Эта «придворная капелла», как ее здесь называют в шутку, кочует вместе с генералом, следуя за ним даже на позиции. Помимо певцов тут есть и танцоры — исполнители лезгинки и гопака. Вся эта челядь служит исключительно для услаждения высшего начальства. При «дворе» Баратова имеется решительно все: и своя свита, и стая угодливо улыбающихся, расторопных пажей-адъютантов, и «прекрасные дамы», которых вербуют тут же, в тыловых госпиталях, и свои бесплатные певцы, и балет. Любят здесь помпу, что и говорить! И никто не задумывается даже над тем, что эта веселая, сытая и беспечная жизнь сотни-другой трутней вызывает недовольство и возмущение фронтовиков, кормящих собою окопных вшей. И казаки, и

строевые офицеры недружелюбно косятся на этих «счастливи-чиков», устроивших из войны веселый, непрерывный пикник.

Певцов сменяют музыканты. Несутся лихие, зажигающие звуки лезгинки. Выкрикивая гортанные, непонятные слова и сверкая кинжалами, пляшут осетины-казаки, черными тенями мелькая в быстром танце. Остальные «дают жару», хлопая в такт в ладоши.

Обед подходит к концу. Мы сидим в бесконечно длинной виноградной беседке. Над нами перевитые лозы, ветви и листья. Лучи солнца лишь с трудом просачиваются сквозь это густое сплетение. Вокруг беседки аккуратно подстриженные кусты, изумрудная зелень газонов, пышные клумбы цветов, наполняющие воздух пьянящим ароматом хамаданских роз. За столом десятка три людей: офицеры, ссстры, штабные «моменты»¹, генерал, еще генерал и, наконец, во главе стола «сам», владыка этих мест — корпусной. С него не спускают сладких, умиленных глаз генштабисты. По обеим сторонам от него — две краснокрестовские сестры, две фаворитки. Одна — героиня сегодняшнего дня; другой, как уверяют, принадлежит «завтра». Но сейчас обе они любезны до приторности друг с другом, хотя в этом взаимном ухаживании и чувствуется глубокая животная ненависть. Полковник Каргаретели, невысокий, смахивающий на обезьяну человек с хитрыми глазами и подобострастными жестами, говорит речь. Музыка смолкает, танцоры скрываются в толпе. Мягко журчат льстивые, щекочущие самолюбие «самого» слова:

— Наш корпус... храбрейший... вошел в историю только потому, что во главе нас...

Наконец он смолкает. Все вскакивают и протягивают бокалы в сторону корпусного. Вокруг генерала толпятся. Каждый хочет убедить его в своей преданности и любви. Музыка играет туш и специально сочиненный на досуге капельмейстером одного из казачьих полков «баратовский» марш. На нас, «мелкоту» — хорунжих, сотников и даже есаулов, — никто не обращает ни малейшего внимания. Мы сидим в хвосте длиннейшего стола, и каждый из нас говорит что хочет и пьет за кого вздумается. Те, кому не хватило мест за большим столом, пристроились к так называемым «музыкантским» — двум небольшим столикам — и чувствуют себя там превосходно, подальше

¹ Презрительная кличка, данная строевыми офицерами выложенным генштабистам царской армии.

от аксельбантов, «моментов» и начальственных глаз бесчисленных командиров.

Рядом с «ныне царствующей» фавориткой сидит худой остроносый человек в иностранном мундире, с большим, выдающимся кадыком. Это майор Робертс — британский военный агент при нашем корпусе. О нем втихомолку говорят в штабе, что этот офицер в небольшом чине значит не менее генерала, что через голову корпусного он поддерживает непосредственную связь со ставкой великого князя¹ и что сам Баратов не брезгует заискивать перед ним. Я присматриваюсь к нему. Бесстрастное, чисто выбритое лицо, типичное лицо надменного бритта, и только мутно-серые, глубоко ушедшие под лоб, жесткие глаза да квадратный подбородок свидетельствуют о властном характере и силе воли этого человека.

Обед подходит к концу. Казаки и лакеи-персы разносят фрукты и мороженое. Звонче становится смех женщин, чаще звенят бокалы. Каргаретели нагнулся к одной из фавориток и что-то шепчет ей на ухо. Она жеманно откидывается назад и, закатывая глаза, хохочет мелким, деланным смехом.

В центре стола возникает веселое оживление. Раздаются возгласы: «Просим! Просим!» Со своего места встает красивый, холеный офицер в прекрасно сшитом новеньком френче с полковничьими погонами. Все стихает. Мастерски подражая манерам парижских шансонеток, полковник поет хрипловатым, словно с перепоя, голосом скабресную французскую песенку:

J'ai connu une blonde,
Il n'y a qu'une seule au monde².

В самых пикантных местах дамы стыдливо потупляют глазки, а мужчины громко хохочут. Полковник заканчивает под гром аплодисментов. Сам корпусной смеется и награждает певца несколькими хлопками.

Рядом со мною сидит Гамалий. Он с аппетитом ест, обильно запивая кушанья красным вином. Лицо его замкнуто, и я тщетно пытаюсь прочесть в его глазах впечатление от всего того, что происходит вокруг нас.

Наконец генерал встает и в короткой речи благодарит гостей. Снова шум, приветствия, подобострастные взгляды. «Му-

¹ Николая Николаевича, в то время главнокомандующего Кавказской армией. Ставка находилась в Тифлисе.

² Я знал блондинку, другой такой не было в мире.

зыкантийский» стол гремит «ура», и под звуки оркестра, играющего генеральский марш, корпусный в сопровождении Роберта уходит через сад в свои покои.

Зуев и Химич, оба основательно охмелевшие, выбираются из толпы бушующих офицеров и, покачиваясь, бредут к нам.

— А мы за вами,— лепечет Зуев,— мы за вами, господин есаул. Верьте, честное-е... слов-во... мы за вас... ду-у... ишш...— Он заикается и тянет: — Ду-у-шу отда-а-дим.

— Отдадим, ей-богу,— подтверждает Химич.

— Ну, ребятки,— ласково перебивает Гамалий,— верю, верю вам, вот скоро и докажете все, а теперь сидайте на коней и айда в сотню, через час и мы приедем.

Зуев, пошатываясь, берет под козырек, а Химич смеется хитрым казацким смешком и пьяным, фамильярным голосом говорит:

— Начальство до дивок п-ишло... пон-нимаем... Ну, нехай вам боже, а нам описля!

Оба бредут к воротам разыскивать своих вестовых в куче перемешавшихся людей и лошадей. Мы идем в комнату дежурного штаб-офицера.

Сад пустеет.

Гамалий в отличном настроении. Он вспоминает свою службу вольноопределяющимся в 1904 году.

— ...У нас, среди вольноперов того времени, был один удивительный фрукт, графчик Олсуфьев, маменькин сынок, благородный отпрыск старого дворянского рода,— прислала его к нам в полк аристократка тетка, чтобы отхватил он себе медальку на георгиевской ленте или крест,— каким-то родственником приходился нашему полковому командиру, князю Трубецкому. Но как на грех приезжает этот фендрик, а князь накануне из-за болезни в Петербург эвакуировался и к нам назначили командиром генерала, да не из салонных, а простого, строевого, всю свою жизнь в гарнизонах тянувшего лямку. Генералу этому плевать на сиятельное родство и титулы его вольноперов. Вот идет как-то командир через двор, а навстречу ему Олсуфьев — службы графчик не знал, строя не любил, нас, простых смертных, чурался — и небрежно этак прошел мимо командира. Тот кричит:

«Кто таков?»

«Граф Олсуфьев»,— отвечает фендрик и этак изящно приподымает фуражку.



«Граф?.. Я тебе покажу графа! Отчего честь не отдал? Отчего во фронт не стал?»

«Не заметил,— говорит,— ваше превосходительство, а к тому же прошу не кричать на меня и не „тыкать“, меня это нервирует».

«Нервирует? А ну, вахмистр, в карцер этого неврастеника на десять суток! Я ему там нервы повылечу».

«Ваше превосходительство, я,— говорит фендрик,— в Петербург на вас князю Гагарину и генералу Куропаткину жаловаться буду».

Как затопают на него старик.

«Ах ты,— кричит,— штафирка! Жаловаться тетушкам да бабушкам на меня будешь?! На двадцать суток его, каналью! Да чтобы каждый день в строю был, а потом — в карцер!»

Отсидел наш графчик двадцать суток, вышел из карцера бледный, напуганный, похудевший и к нам вдруг проникся симпатиями, не отходит от вольноперов. Только на второй день угораздило его опять на глаза командиру попасться. Остановился он, смотрит на генерала и опять не отдает ему чести. Рассвирепел тот, побагровел весь:

«Вы это что, бунтова-а-ать? Издеваться над начальством? Упеку под суд! Поч-че-му не отдаешь чести?»

«Извините, ваше превосходительство,— совсем оторопев, говорит графчик.— Я думал, что мы с вами в ссоре!»

Тут уж и генерал растерялся. Поглядел-поглядел в невинные глаза Олсуфьева, плюнул:

«Ну и дура-ак! Откомандировать это чучело из полка куда угодно!»

Мы весело смеемся. Особенно нравится рассказ Зуеву.

— Хороший анекдот,— заливаясь смехом, говорит он,— надо запомнить.

— Нет, господа, к сожалению, не анекдот,— вздохнув, продолжает Гамалий.— Вы видели сегодня возле командира корпуса высокого гвардейского полковника с пышными усами и «Владимиром» на груди?

— Того, что пел французскую шансонетку? — спрашиваю я. Гамалий молча кивает головой.

— Так вот он сам, своей персоной, и есть полковник граф Алексис Олсуфьев,— медленно говорит Гамалий.

Зуев негодуяще откидывается назад.

— Видно, тетушка продолжает ворожить ему. Полковник! — с непередаваемым презрением заканчивает Гамалий.

Нашу беседу прерывает конный драгун, прибывший из штаба.

— Вашскобродье! — щелкая шпорами и четко отдавая честь, докладывает он. — Их превосходительство генерал-майор фон Эрн требуют вас со старшим офицером к себе.

— Сейчас будем, — вставая, говорит есаул.

Драгун исчезает, и кованые копыта его коня стучат за палаткой.

Мы спешим в штаб.

— Видите этот зигзаг? Это караванная тропа, ведущая в ущелье Алдун. Отсюда тянутся еще две дороги. На этой карте их нет, но я провожу их карандашом для вашей ориентировки. Правая — вот эта — ведет в Хумезен и проходит по богатой долине Али-Аллах. Здесь вы найдете и скот, и фураж, и воду, но населяют ее воинственные кельхоры¹, а западнее — дикие и враждебные нам луры пуштеку². По этому пути вы смогли бы дойти при благоприятных обстоятельствах — повторяю: при благоприятных — суток за пятнадцать-шестнадцать. Это, конечно, в том случае, если у вас не будут падать кони, не заболеют люди и на вас не нападут враги. Второй путь, более трудный по условиям перехода, сулит вам меньше опасностей от неприятеля. Правда, ваш маршрут удлинится на несколько дней, и почти наверняка из состава сотни к концу останется лишь половина, но зато вы дойдете до англичан и выполните задание. При первом же варианте я больше чем уверен, что уже на полпути вы будете уничтожены турецкими регулярными войсками и бродячими отрядами противника.

Карандаш генерала Эрна скользит по карте, отмечая важные для нас ориентиры.

— Вот тут, — продолжает он, — заканчивается сравнительно мирная полоса. Далее идут области, не уточненные на карте. Что здесь за население и как оно отнесется к вам — трудно сказать. Но думаю, что главные затруднения начнутся не здесь...

Карандаш бежит дальше.

— Здесь, здесь и вот тут населенные области. В этих районах живет смешанное население, тут вы встретите и курдов, и арабов, и даже евреев. Кстати, мой совет: обходите подальше все селения и кочевья, идите балками и ущельями и продвигай-

¹ Племя в Персии.

² Племена луров делятся на две ветви: луров пешку и луров пуштеку.

тесь главным образом только по ночам. Пройдя эту зону, вы уже вступаете в пределы Месопотамии, на настоящую арабскую территорию, и вот тут-то, по моим расчетам, вас и ожидают главные опасности: безводье, бескормица, падеж коней, малярия и воинственно настроенное в пользу турок население. На протяжении сотен верст перед вами ляжет обширная песчаная пустыня с редкими путями и оазисами, прочно занятыми турецкими войсками. Вам надо будет обходить эти гарнизоны, ибо они уничтожат вас в первом же бою. Помните и не забывайте, что вы будете находиться в тылу стотысячной турецкой армии и что задача ваша — встретиться с англичанами, а не партизанить в тылу противника. Что еще? Кажется, все. Ах да... вы, конечно, получите от меня деньги в золоте, тысяч до сорока. Не жалейте их. Привлекайте симпатии населения своей щедростью, а главное — не скупитесь на подкупы курдских ханов и старшин.

Мы молчим. Генерал волнуется и барабанит белыми, холерными пальцами по столу.

— Должен, господа, откровенно высказать вам свое мнение о походе. Я считаю, что это ненужная и бесцельная жертва. Но что поделаешь? Дипломатические соображения... Английское командование категорически настаивает на этом рейде.

— Ваше превосходительство, если бы вы и не сказали нам откровенно всего этого, все равно я был бы точно такого же мнения об экспедиции, в которую нас посылают. Я отлично знаю ее трудности и предвижу еще большие опасности, чем рассказали вы, и все же... — Гамалий выпрямляется и твердо чеканит: — И все же мы совершим этот переход и благополучно вернемся обратно.

Генерал пожимает ему руку:

— Итак, каким же путем: через Курдистан или в обход на Гилян¹? Первый — опасен и вряд ли выполним, второй — легче, но утомительнее.

Минутное молчание, затем Гамалий твердо отчеканивает:

— Мы пойдем по первому пути, через Курдистан.

Начальник штаба ошеломлен. Он недоверчиво смотрит на есаула:

— Но ведь там вы непременно натолкнетесь на противника, и он уничтожит вас.

¹ Здесь упоминается о Гиляне, граничащем с Месопотамией, а не провинции Гилян на севере Ирана.

— Ваше превосходительство, були б тильки кони; поки казак мае коня, ему сам бис нестрашний, а як що у казака нема коняки, пропала його козацька голова.

Мы оба смеемся. Генерал удивленно разводит руками и соглашается.

Затем он показывает нам груды лежащих на полу небольших холщовых мешочков, крепко, крест-накрест, перевязанных упругой бечевой. На каждом из них белеет квадратный картон, по которому алым пятном расплзается казенная сургучная печать.

— В каждом по две тысячи золотых рублей,— говорит генерал,— вот эти пяти-, а эти десятирублевого достоинства. Всего двадцать пять мешков на общую сумму пятьдесят тысяч рублей. Помимо этого вот эти,— он показывает глазами на отдельно лежащие пузатые мешочки,— серебро, персидские туманы, это вам на дорогу. Денег не жалейте, в вашем путешествии они эффективнее пулеметов.

Гамалий пересчитывает мешки, я проверяю печати. Генерал обиженно бурчит:

— Все в порядке, мешки лежали под моим надзором. Соблаговолите, есаул, выдать мне расписку в получении содержания на расходы экспедиции и завтра с утра — с богом в путь.

Гамалий, вырвав из полевой книжки листок, пишет расписку. Я укладываю мешочки в специально предназначенный для них металлический ящик. Генерал звонит. В комнату входит адъютант, тот самый, который встретил нас вчера у подъезда штаба.

— Узнайте, пожалуйста, может ли принять нас по делу экспедиции майор Робертс.

— Так точно, ваше превосходительство, господин майор ждет вас.

Генерал щелкает замком, накладывает на ящик большую сургучную печать и передает ключ Гамалию.

— А теперь идемте к майору.

Выходим. Генерал запирает дверь, хотя перед ней стоят двое часовых с обнаженными шашками, и ведет нас по широкому, ярко освещенному коридору.

Белая, отлично отлакированная дверь. На ней крупная, с золотым обрезом визитная карточка с надписью: «Майор Джозеф Робертс — представитель британской армии при русской ставке». То же напечатано и по-английски. Генерал негромко стучит, в ответ слышатся шаги.

Дверь раскрывается, и на пороге стоит сам майор. Он делает любезное лицо, рука его широким жестом приглашает нас. Комната, за ней другая и, вероятно, третья. Все ослепительно чисто, на полу — пушистый ковер. На стенах — до десятка карт; здесь и наш, и кавказский, и месопотамский фронты. Полстены занимает огромная карта Франции. По ней яркими цветными флажками обозначена линия Западного фронта. Алые и синие значки союзников тянутся от Альп до Антверпена. Их повсюду дублируют желтые флажки. Это немцы. В углу на оттоманке — огромный флегматичный дог, едва шевельнувший ушами при нашем появлении. На столах — стопки бумаг, циркули, линейки, две пишущие машинки. На всем лежит печать сухой аккуратности. Это рабочая комната майора. Вторая, полускрытая шторами, — по всей вероятности, его спальня. Оттуда слегка пахнет тонкими духами. Нам виден уголок стены, обитой дорогим ширазским шелком.

Садимся. Майор предлагает чай, но мы отказываемся. Не поворачивая головы, он бросает в пространство:

— Фредди!

Из боковой двери показывается белозубый солдат, его слуга. Робертс говорит ему что-то по-английски, тот так же невнятно бормочет в ответ, и через минуту перед нами стоят две бутылки виски, сифон с содовой водой и крепкие, ароматные сигареты. Фредди подает к виски какие-то неведомые мне печенья и так же бесшумно исчезает. Майор объясняется с нами по-русски. Говорит он неправильно, комкая и глотая окончания слов. Вначале я с трудом понимаю его. Он водит длинной указкой по карте месопотамского фронта и знакомит нас с расположением английских частей.

— Здэйсь есть полк конница гвардейских улан, тут три батальон нью-зеланд пехот. Тут один бригад австралийский пехот. Здесь восемь батальон канадски волонтер. Здесь еще один дивизи английских пехот генерала Томсон, а здесь конница полковника Сайкс. Потом назад, сюда, где есть Кут-эль-Амара и Бассора, находится главный сил генерала Моуд. Вы будете встречаться с конница полковник Сайкс вот около этот мест или с конница гвардей улан около Мензари. Наши кавалерии будет искал вас через четырнадцать дней. Я думаю, что вы уже через два неделиа будете их увидать. Теперь, какой войска имеет здесь неприятель? Тут курдский конница Гамидиэ, пять табор, тысяча четыре-пять. Тут черкесы, кавалерии тысяча человек. Здесь курдски, арабски и лурски племя, тысяча восемь-

десять конница. И здесь регулярии войск генерал Джемал-паша. Два дивизи галлиполийски солдат. Очень крепки и хороши дивизи. Здесь корпус генерал Исхан-паша, и здесь три табора пехота и одна бригада суваров. Всего сорок семь — пятьдесят тысяч людей. Теперь вы узнали полную дислокацию месопотамский фронт.

Гамалий с быстротой стенографистки записывает слова майора. Его карандаш летает по бумаге, делая нужные отметки.

Я тем временем думаю: «Если там столько британских войск, зачем понадобилось посылать туда еще нашу сотню? Какое значение может иметь ее соединение с английской армией и как сумеет прорваться она через такие густые завесы неприятеля?»

— Когда вы соединяйтесь с английскими войсками, — продолжает майор, — вы будете передать им этот пакет, очень важный и экстренный. По радиотелеграфу они знают о вашем экспедиционном, и они очень рады встречать вас. Если экспедиция не удастся, — он многозначительно глядит на нас, подчеркивая слова, — тогда необходимо уничтожить этот пакет. Вы понимаете, господа?

Мы утвердительно киваем.

— Но я твердо знаю, что все будет очень хорошо и приятно, русские казаки есть храбрые люди, — улыбается он, и его квадратный подбородок раздваивается, выдавливая мертвую улыбку.

«Что же, не вы к нам, а мы к вам?» — приходит мне на ум, и я неприязненно гляжу на этого чужого человека, так просто и спокойно посылающего меня, моих друзей и сотню неведомых ему русских казаков на почти верную смерть.

Майор поднимает стакан и чокается с нами.

— За храбрых казаков и удачный поход!

Пьем.

— А вы знаете, сэр Джозеф, — говорит молчавший до сих пор генерал, — есаул Гамалий предпочитает идти не на Гилан, а через Курдистан.

Майор на мгновение погружается в раздумье, видимо прикидывая мысленно на карте наш будущий путь, а затем коротко, по-лошадиному обнажая зубы, смеется:

— У нас в Англии есть хороший поговорок: каждый герой сам ищет себе способа отличиться. Я думаю, господин офицер прав, этот дорога вернее. Сейчас вы будете взять у меня письма к курдским и арабским начальникам и денег... золото на ваш путь. Это хорошие помощники в такой экспедиции.

— Я уже получил деньги, — перебивает его Гамалий.

— Да? Какой деньги? — поднимает брови майор.

— Пятьдесят тысяч рублей золотом, — поясняет есаул, с недоумением глядя на молчавшего Эрна.

— Да, это хороший сумма, — одобряет Робертс, — но вы будете эти деньги возвращать господин генерал, — он любезно кивает в сторону Эрна, — а будете брать другой деньги. У меня, английский золото.

— Это зачем? — снова перебивает его Гамалий.

— Здесь, на Восток, наши деньги знают очень давно — гиней, соверны; другой золото здесь неизвестно и нет цена. Тут наш сфер влияния, и чужой деньги пускать нельзя. Ви возвращайт этот пятьдесят тысяч рубль обратно и берет от меня десять тысяч фунт стерлинг. Новый золотой монет. Это сто тысяч ваши деньги.

Словно желая продемонстрировать нам неотразимую власть английского золота, майор небрежно извлекает из кармана брюк пригоршню новеньких, ослепительно блестящих золотых гиней и, показывая на вычеканенное на них изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего дракона, говорит:

— За вас будет идти в атак кавалерия святой Георг.

Подобие улыбки на лице Робертса должно внушить нам, что англичане способны оценить юмор даже тогда, когда он приходится им далеко не по вкусу. Действительно, среди союзников уже ходит нелестная для боевых качеств английской армии острота о том, что Британия воюет главным образом с помощью «золотой кавалерии».

— Господин майор, — поднимаясь со своего места, говорит Гамалий, и в его голосе слышится гордая и вместе с тем неприязненная нота, — я русский офицер, служу своему государю и приказания получаю только от своего начальства.

— Хо-хо-хо! Правильный слова! — смеется Робертс, но глаза его остаются жестокими и холодными. — Однако вы напрасно горячитесь, этот действий уже согласован с генерал Баратов, и я только говорю его приказ. Не правда ли? — обращается он к Эрну.

Генерал смущается и поспешно подтверждает:

— Ах да! Действительно. Я забыл вам сказать, что таково приказание корпусного.

Робертс бесцеремонно встает, показывая, что беседа кончена, и как ни в чем не бывало добродушно протягивает нам руки:

— Вы уходите утром. Золото вам пришлут через час.

Мы молча ретируемся вслед за генералом. В своем кабинете Эрн тяжело вздыхает и молча покачивает головой.

— Что же это значит, ваше превосходительство? — уже не скрывая своего возмущения, говорит Гамалий. — Не щадя своей жизни, русские казаки и офицеры идут в исключительно трудный и опасный рейд, но на пути они должны пользоваться, расплачиваться с встречными племенами лишь английским золотом. Ведь это же пропаганда британского могущества...

— ...и нашей слабости, — тихо и торопливо договаривает Эрн. — Но что я могу поделать? Такова воля ставки и приказ корпусного. Там, наверху, готовы стоять навытяжку перед англичанами, — и он бессильно пожимает плечами. — Все, что в моей власти, — это оставить при вас предоставленные мною пятьдесят тысяч, а дальше вы уже действуйте по своему разумению и на свой страх и риск.

Мне становится неловко при виде осунувшейся, сразу ставшей маленькой фигуры генерала.

Выходим во двор.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — медленно говорит Гамалий.

Садимся на коней и до самой сотни едем молча.

Возвращаемся к себе около полуночи. В нашей палатке уже сидят белозубый Фредди и штабс-капитан Корсун — прикомандированный к Робертсу для поручений русский офицер. Фредди молча указывает на опечатанный сургучной печатью цинковый ящик, а Корсун тихо поясняет:

— Десять тысяч фунтов стерлингов. Господин майор просил подтвердить получение денег. Отчета в расходовании и сдачи остатка не требуется.

Гамалий молча отворачивается, а я, написав расписку, вручаю ее Корсуну. Он и Фредди уходят.

Зуев безмятежно спит, но Химич уже успел протрезвиться и вместе с вахмистром обошел всю сотню, осмотрел коней и седловку, обследовал хозяйственную часть, проверил пулеметы и предупредил казаков о раннем выступлении в поход.

— Обед будет готов к трем часам, — докладывает он. — К четырем накормим людей и в путь.

Вахмистр в свою очередь сообщает Гамалию, что консервы розданы по рукам, не считая неприкосновенного запаса.

— А патроны?

— По двести пятьдесят штук у каждого, кроме тех, что на двуколках. Кузнецы справили свой инструмент. Фуражу тоже

полны саквы. Вы уж не беспокойтесь, вашскобродие,— успокаивает он,— все как надо, в порядке... А что,— пригнувшись ко мне, шепчет он,— к англичанам, говорят, идем?

Я гляжу на него полными изумления глазами. Он конфузится и говорит:

— Так промеж себя казаки толкуют. Опять же этот Востриков: «Я, говорит, знаю, к англичанам через весь фронт пойдем».

Он умолкает, но я чувствую, что он дожидается ответа. Гамалий смеется:

— Ну, чего там скрывать. Уж если Востриков так сказал, надо открываться. К англичанам, Лукьян, к ним.

— Да ведь дюже далеко, вашскобродие.

— Ничого, абы кони донесли.

— Донести-то донесут, да как вынесут? — качает головой вахмистр.

— Не лякай, вынесут. А ты що, уже отломил¹?

— Никак нет, вашскобродие, я-то не отломлю: небось не первый раз по тылам гуляем.

— Ну то-то! Что еще?

— Да, кажись, все.

— Добре! Ступай спать. Нам с тобой с утра ще работы наберется.

— Спокойной ночи, ваше высокоблагородие.

— Спокойной ночи, Лукьян.

Гамалий поворачивается ко мне:

— Вот сукин сын Востриков. И черт его знает как он все пронюхает.

— Да он, вашскобродь, шныряет везде, как кобель. Чуточки услышит, как кто сбrehнет, а он все на ус мотает. Другому и в голову не придет послушать, что это там люди гуторят, а у Вострикова душа не на месте. Все он хочет знать,— говорит Пузанков, раскладываящий мне походную кровать.

— А что, Пузанков, я думаю оставить тебя здесь. Куда тебе с вьюками за нами таскаться, еще убьют тебя где-нибудь. Хочешь остаться здесь, при обозе? — подтруниваю я над своим вестовым.

Он сопит, потом поднимает на меня обиженные глаза и коротко говорит:

— Не желаю!

— Почему?

¹ Казацкое выражение: «испугался».

— Да так, не хочу! Куды сотня, туды и я.
— Да дурень, а вдруг не дойдем да все погибнем.
— Ну-к что ж! У меня в сотне брат, шуряк да двое дядей.
Куды они, туды и я. Не желаю при обозе!

— Ну, ладно, смотри, потом не пеняй.
Он удовлетворенно смеется и хвастливо говорит:
— Чего пенять-то? Не на кого жалиться. Я, вашбродь, даром что денщик, а человек я рискованный.
— Тебе бы в строй,— смеется Химич.
— А что, может, я сам за храбрость до прапорщика дойду,— отрезает Пузанков.

Мы смеемся. Химич, недовольный таким сравнением, говорит:

— Ну, это мы поглядим, когда в бой попадем. Небось тогда спрячешься, коням хвосты пойдешь подкручивать.

— Ну там посмотрим,— решает Гамалий.— А теперь айда спать.

Пузанков уходит. Химич тушит свет, и через минуту он и Гамалий мерно храпят. Я хочу вызвать в памяти образы близких мне, родных людей, но сознание помимо моей воли покидает меня, и я погружаюсь в глубокий, без сновидений сон.

Еще совсем темно. Звезды лишь слегка поблекли на небосводе. До рассвета еще часа полтора, но сотня уже проснулась. Казаки возятся у коновязей, мелькают фигуры, слышатся вздохи и отчаянные зевки.

— Куцура, не бачив мово коня? — спрашивает кто-то из темноты.

— Ни. А що?

— Та нима його нигде, провалився скризь зимлю.

По парку движутся тени. Это казаки бродят в поисках забредших за ночь коней.

— А ты йому ноги спутляв? — интересуется Куцура.

— Ни, забув. Та ций сатани що путляй, що не путляй, все одно сбижыть.

И крутая брань завершает этот разговор на ходу.

Пузанков увязывает тюки. Горохов разбирает палатку.

Гамалий зеваает во весь рот.

— Теперь бы еще соснуть,— вслух мечтает он.

Химич бубнит у коновязи, подгоняя мешкающих казаков. Кухня разевает огненную пасть, и из открытого куба поднимаются клубы белого пара.

— Супу давать? — спрашивает Пузанков.

— Давай, да побольше, — сквозь зевки кидает Гамалий.

Спустя несколько минут мы вместе со всеми едим горячее варево с плавающим в нем мелко крошенным мясом. За ним следует каша — крутая, густо посоленная пшенная каша, поджаренная на свином сале. Она хрустит на зубах. Есть не хочется. Но мало ли чего не хочется! Перед выступлением полагается хорошенько наполнить желудки, и мы поедаем наш «обед», поданный в три часа ночи.

«Эх, накормить бы пару раз вот так, среди ночи, обедом из котла всех этих окопавшихся при штабе бесчисленных трутней в генштабистских мундирах и сверкающих аксельбантах!» — со злостью думаю я.

Палатки уже скатаны, тюки навьючены, кони заседланы, люди накормлены. Пузатый кашевар разливает по котелкам кипяток. Казаки неторопливо пьют чай. Гамалий смотрит на восток. Горы посветлели, звезды тают одна за другой и гаснут на сером небе. Красноватое зарево медленно поднимается за Асад-Абадским перевалом. Четкие контуры деревьев прорезают серую мглу. Шеверин просыпается. Лают бродячие собаки. Скрипит проезжая телега, и пофыркивают кони.

— Пора! — говорит Гамалий и коротко, негромко командует: — Сотня, готовс-с-сь!

Люди приходят в движение. Засовываются за голенища ложки, прячутся в сумы недоеденные куски хлеба и сахара.

— По коня-ам! — снова прорезает тишину голос командира.

Мы идем по своим местам. Сотня, ведя коней в поводу, тянется к оголенной площадке. Обоз — вернее, кухня, пулеметы и вьючные кони — проходит вперед и скрывается за деревьями. Сотня выстраивается. Звенят шашки, фыркают кони, и тускло поблескивают винтовки.

— Сотня, сади-ись!

Движение, небольшая возня — и мы на конях.

— Ша-а-гом ма-а-арш! — нараспев тянет Гамалий.

Снова плывут улицы, снова мелькают дома, глиняные стены, лужи, базары, и опять мы качаемся в седлах. Горы уже не в силах заслонить солнце. Оно поднимается над ними и, молодое, могучее, смеется над усилиями убегающей ночи. Яркие брызги рассыпались по долине. Они скачут, сверкая и отсвечиваясь на зубцах мрачных утесов Асад-Абада, играют в зеленой листве и скользят по стали наших винтовок и кинжалов.

День наступил. Мы выходим на Керманшахское шоссе и, поднимая пыль, тянемся ровной лентой вперед, к крутым отро-

гам чернеющего вдали Асад-Абада. Асад-Абад — это грозный горный хребет, на вершину которого, змеясь, кружась и петляя, поднимается наше шоссе. По сторонам на утесах лежит снег. Вершина хребта — на высоте трех с половиной верст, и там, за облаками, лучи солнца бессильны растопить эти белые глыбы. В голубой дымке прячутся ущелья. Дорога все время поднимается в гору. Холмы и сады Хамадана остаются далеко позади. Какие-то птицы с звонким чириканьем носятся над нами.

— Стрижи? — спрашивает меня Гамалий.

Его лицо бодро. Он весел и доволен. Или, может быть, это только так, перед казаками. Но они не обращают на нас внимания, они заняты своими обычными разговорами. Сбоку, в ложбине, прячется маленькое селение. Оно окружено садами и выглядит таким уютным. Мы проходим мимо. На повороте дороги я замечаю, как двое казаков отрываются от хвоста колонны и скачут к деревушке. Я останавливаю коня и посылаю за ними вестового. Через несколько минут все трое подъезжают ко мне.

— Куда вы?

— Воды попить, вашбродь, — говорит один из них, кузнец Карпенко, вор и забияка, неоднократно произведенный за храбрость в урядники и столько же раз за пьянство и грабежи разжалованный вновь в рядовые.

— Попьешь на пункте, — обрываю я. — Марш к сотне!

Он усмехается и беззлобно говорит:

— Уж вы, вашбродь, завсегда мне не верите. Ей-же-богу, воды попить захотели, а не что-нибудь там...

— Ну ладно, ладно, — говорю я, и мы на рысях догоняем ушедшую вперед сотню.

— Следи за ними! — наказываю я вахмистру. — Не упускай никого из виду.

— Да разве за ними, за дьяволами, уследишь! — с отчаянием восклицает Никитин. — Им бы, жеребцам, плетей надавать, тогда послушали бы. Разве они, окайнные, хорошие слова понимают!

Карпенко и Скиба переглядываются, в их глазах дрожит затаенный смех. Я обскакиваю сотню и нагоняю Гамалия.

— Что там? — спрашивает он.

— Пустяки, отстали двое, я их подогнал.

Дорога становится все круче, ее белая лента вьется зигзагами по зеленым выпуклым склонам горы и снова прячется в ущелье. Воздух свеж и густ, как парное молоко. Время бежит...

С каждым поворотом Хамадан все далее уплывает из глаз. Позади остается обширная равнина с живописно разбросанными по ней деревнями, белыми пятнышками озер, причудливыми изворотами рек. Зеленеют квадратики пашен. Там и сям темнеют сады. Людей внизу не видно; глаз не может различить их: так далеко, под самые небеса, уходим мы. Мимо проплывают хлопья зацепившегося за скалы утреннего тумана. Шоссе в приличном состоянии, видно, что его чинили совсем недавно. Мосты крепки и еще не расшатаны артиллерией и грузовиками. Иногда попадаются по пути трупы павших коней и верблюдов. Падаль уже разодрана шакалами, возле костей грызутся бездомные, одичавшие собаки, с глухим ворчанием, нехотя отходящие в сторону при нашем приближении. Огромные орлы или, может быть, беркуты с оголенными змеевидными шеями парят над нами. Те, что сидят на ближайших утесах, косым, стерегущим взглядом следят за нашим шествием, не пугаясь нас и не трогаясь с места. Мы поднимаемся все выше. Часто сокращаем дорогу по тропкам напрямик. Тогда мы слезаем с коней и цепляемся за их хвосты и гривы. Кони храпят и осторожно карабкаются по камням и утесам.

Несмотря на горную прохладу, мы обливаемся потом, а перевал через эту проклятую гору все еще далеко. Гамалий смотрит на часы. Идем уже пять с половиной часов.

— Голова колонны, сто-о-ой! — кричит он.

Передние ряды останавливаются. Казаки спешиваются. Кто лежит, кто сидит, кто крутит сигарку. Сзади подтягиваются отставшие.

— Полчаса роздыху, — говорит командир.

Сейчас же кое-где начинают куриться и дымить маленькие костры. Кони тянутся в сторону от дороги, к траве. Я лежу на спине и смотрю на плывущие надо мною облака. В руках у меня плитка шоколада, которую сунул мне Гамалий. Как ни странно, этот brave боевой офицер — сладкоежка и обожает шоколад, который всегда у него в запасе. Однажды я, смеясь над ним, насчитал в его сумках около десяти фунтов шоколада самых разнообразных сортов. Зуев прикорнул и дремлет. Химич грызет белые сухари, которые ему прислала из станицы жинка — простая казачка. Говорить лень. Хочется долго лежать и вот так, не отрываясь, глядеть в это ясное, голубое небо и не думать ни о чем, решительно ни о чем. Ни одна мысль о том, что нас ждет дальше, не приходит в голову.

Гамалий вырывает меня из моей ленивой истомы:

— По ко-оням, са-а-дись!

И мы вновь идем вперед.

Наконец добираемся до перевала. Оглядываемся и не можем оторвать глаз. Какая красота! Отсюда, с высоты трех с половиной верст, открывается непередаваемо прекрасный в полном смысле этого слова, сказочный вид на лежащие внизу равнины. Далеко вперед уходит широкая, ровная, изумрудная степь, прочерченная десятком рек и множеством дорог. Еле видимые селения с минаретами и башнями кажутся плывущими в тумане. Голубая даль сливается с чуть зримыми на горизонте горами. Под нами с ревом и грохотом рушатся в бездну водопады. По склонам и скатам прилепились убогие деревушки. А у самого подножия Асад-Абада стоит Маньян — лечебно-питательный пункт, где мы должны пообедать и сделать недолгий привал.

Начинается спуск в Керманшахскую долину. Дорога становится лучше. Идти под гору совсем легко. Казаки повеселели.

— Слава те господи, прошли... Намаялись добре... — слышатся голоса.

Изредка из-под копыт срываются камни и катятся с шумом вниз. Шоссе делает последний поворот, и Асад-Абад остается позади. Его седые утесы хмурятся и поглядывают на нас с высоты.

Подходим к Маньяну. Это — полувоенный, полустатский этап, организованный здесь «Союзом городов». Его штат немногочислен: прапорщик-комендант, два врача, три пожилые, но кокетливые сестры и десятка полтора санитаров из «крестиков». Такие пункты разбросаны здесь через каждые двадцать—тридцать верст. Накануне, по телефону из Шеверина, мы заказали горячую пищу на всю сотню, и теперь нас ждут. Нам навстречу выбегают солдаты. Они радушно машут руками, как бы завидя званых гостей. Открываются деревянные ворота, немилосердно скрипя немазаными петельными крюками. Мы останавливаемся, сотня спешивается. Коней заводят во двор, и люди тотчас же разбредаются по селу.

— А ну, кто хочь куренка тронет — попробует плетей! — несется вслед зычный голос Никитина.

Но здесь мудрено найти даже куренка, ибо до нас прошло немало и казачьих и пограничных полков, и куренок стал редкостью.

На крылечке суетится комендант. Маленький, кругленький человечек, прапорщик запаса, призванный на войну из акциз-

ного ведомства, он выглядит типично штатским. Но хозяин он, несомненно, хороший. На пункте всюду чистота и порядок, имеются большие запасы отличного фуража, мяса, солонины, сахара, овощей, медикаментов — словом, всего, в чем нуждаются проходящие части.

Гамалий прежде всего идет посмотреть, чем будут кормить сотню. Война научила его, что любезные коменданты этапов, готовые потчевать всякими изысканными блюдами офицерский состав, кормят солдат из рук вон плохо. Но его подозрения на этот раз не оправдались. Казаков угощают великолепной солониной с кашей, в которую не пожалели масла. Довольный, есаул присоединяется к нам.

Комендант сам разливает чай, вливая в него по четверти стакана ароматного французского коньяка. Между делом он интересуется, не играем ли мы в «трынку», но партнеров себе не находит. Входят врачи, появляются сестры. Нам подают какой-то странный суп — зеленый, густой, с разварившимся горохом, вкусным мясом и длинными кислыми, напоминающими щавель, овощами.

— Пити! Местное блюдо. Я научился готовить его, — с гордостью объявляет бывший акцизный.

Мы одобряем его искусство. Гамалий сияет: ни один казак не отстал, кони, несмотря на трудный горный переход, здоровы, нет ни одной набитой спины, настроение у людей бодрое. Словом, пока все идет как по маслу.

— Еще бы стаканчик чайку, — благодушно говорит есаул, выпивший уже не менее пяти стаканов.

Сестры гостеприимно потчуют нас. Зуев и Химич лениво любезничают с ними. Самой молодой из этих обольстительниц не менее сорока лет, самой пожилой под пятьдесят, но тем не менее здесь, на этом заброшенном пункте, они, как видно, пользуются немалым успехом. Помимо наших прапорщиков около них увиваются драгунский корнет и пара застрявших на день проезжих земгусаров. Эти последние выглядят по-опереточному ярко на фоне боевого, прошедшего окопные и походные мытарства офицерства. Невольно мне вспоминается сочиненная недавно где-то на фронте песенка об этой специфической фауне войны:

С биноклем, шашкой, револьвером,
Алаверды, алаверды,
Казался каждый офицером,
Алаверды, алаверды,

Расшили золотом погоны,
Алаверды, алаверды,
Пусть трусы носят цвет зеленый,
Алаверды, алаверды...

Сестры довольны. Нам же от долгой тряски, сытного обеда и коньяка хочется спать. Словно угадывая мою мысль, Гамалий говорит:

- А не соснуть ли нам часок?
- Когда же тронемся дальше? — спрашиваю я.
- Вечером, часов в пять.
- Добре!

Мы идем в маленькую прохладную комнату и заваливаемся спать на железных койках, покрытых соломенными солдатскими тюфяками.

Снова в пути. Отдохнувшие кони идут крупным, бодрым шагом. Иногда сзади слышатся голоса: «Повод вправо!» Это нас обгоняют маленькие «форды» и тяжелые «мерседесы». Тучи пыли, как завесы, вздымаются за ними. Часто навстречу попадают двуколки, арбы, грузовики. Бредут пешеходы. Робкие персы спешат свернуть с дороги. Их способ передвижения прост и оригинален: три-четыре человека бегут за ишаком, сменяя по очереди трясущегося на нем всадника. Седло заменяет кусок войлока, а плетъ — острое шило, которым седок время от времени покалывает круп упрямого животного.

— Давай наперегонки! Ты — на ишаке, а я — пешком! — кричит Востриков непонимающему и робко улыбающемуся персу.

Казаки смеются. Однообразие пути утомляет их, и они рады всякому случаю, отвлекающему их от монотонного скучного покачивания в седле. Так проходит час, два... четыре.

На пути вырастает еще один пункт — такой же, как и в Маньяне, только с той лишь разницей, что комендантом здесь молодой безусый прапорщик-инвалид, а вместо сестер угреватый фельдшер. Пьем чай, звоним на Аб-Герм. Это следующий пункт, где предстоит ночевка. Просим приготовить обед и закупить фураж для лошадей. Прощаемся — и снова в седле.

Вечер незаметно сходит с темных вершин Асад-Абада и быстро нагоняет нас. Равнина погружается в молчание. За горизонтом погасает солнце и озаряет нас своими багровыми прощальными лучами.

В сгущающемся мраке показываются огоньки. Это Аб-Герм. Подходим, спешиваемся, располагаемся на ночь у дороги, на

мягкой и густой траве. Казаки расседлывают и развьючивают коней. Они с увлечением растирают им спины жесткими щетками и чистят скребницами их запыленные ноги и животы. Через полчаса, напившись воды, кони с хрустом жуют сочный ячмень.

Пузанков разбивает походную кровать и стелет постель, но я решаю пройти на пункт. Мне, несмотря на усталость, интересно взглянуть на обитателей Аб-Герма.

Большая светлая комната. За столом — Гамалий, комендант, несколько пехотных офицеров и человек пять сестер. На столе — коньяк, вино, закуски и неизменный шоколад есаула. Взоры сидящих останавливаются на мне.

— Мой старший офицер, сотник Н.,— представляет меня командир.

Я жму с десятков протянутых рук и присаживаюсь к столу. Напротив меня сидит хорошенькая сестра с большими черными глазами. Она с любопытством разглядывает меня. На груди у нее рядом с большим красным крестом синее маленькое эмалированное ромб! Ого! Университетский значок! Это меня интригует. Я завязываю разговор. Через пять минут мы болтаем как старые знакомые. Оказывается, мое лицо очень напоминает ей лицо одного студента-технолога, с которым она когда-то ехала в поезде где-то между Варшавой и Минском. При этом воспоминании она смеется, показывая ряд мелких, ослепительно белых зубов. Зовут ее Ириной Петровной, она практикант-химик, окончила в этом году Харьковский университет и теперь работает здесь, при пункте, лаборанткой. За столом шумно, но мы не обращаем ни на кого внимания, занятые своими, исключительно своими разговорами.

Ой, казала мени маты,
Та приказувала,
Щоб я хлопців у садочок
Не приважувала.
Ой, мамо, мамо, мамо,
не приважувала...—

раздается невдалеке, за дорогой. Это сотенные певцы вместе с доморощенным регентом, урядником Сухоруком, вспоминая станицу, поют родную, вывезенную дедами с Украины песню.

Мелодия трогает сидящую компанию. Звуки то растут, то затихают и льются волной в раскрытые окна пункта.

— Как хорошо, как чудесно! — тихо говорит, мечтательно глядя в черную ночь, Ирина Петровна.

В самом деле казаки поют отлично. Они умеют несложными мелодиями дедовских песен вызывать глубоко западающую в душу сладкую грусть.

— Выйдем на воздух, — предлагаю я.

Мы поднялись и прошли во двор.

Луна бродила по облачному небу, проваливаясь в белесые хлопья облаков и так же внезапно выныривая вновь. Ее неровный свет падал на долину, на притаившийся пункт и на поющих казаков. Мы подошли ближе к ним. Кончив песню, Сухорук обратился к моей соседке:

— Послухать прийшлы, сестриця?

— Да, уж больно вы хорошо поете, прямо прелесть! — похвалила моя спутница. — Вы бы, голубчик, еще спели что-нибудь.

— Это можно. Какую прикажете, вашбродь? — обратился он ко мне.

— Какую хочешь. Только, Сухорук, смотри не пой до конца, а то напугаешь доктора, — указывая на Ирину Петровну, сказал я.

— Не извольте беспокоиться, вашбродь, не подгадим. А я думал, что вы сестриця, — улыбнулся он, глядя на лаборантку. — Больно не похожи на докторицю.

Ирина Петровна весело и звонко смеется:

— Почему же? Почему не похожа?

— Да как сказать... Больно молодые и красивые. А докториця, по-нашему, извиняюсь, должны быть старые, да и лицом как бы не вышедши.

Хохот казаков слился со звонким смехом «докторици».

Сухорук польщен. Ирина Петровна жмет ему руку и благодарит за забавный и приятный комплимент.

Казаки запевают старинную песню об Иване Грозном и буйном Тереке. Они поют вдумчиво и вдохновенно. Давно прошедшей вольностью и удалой жизнью казацких ватаг веет от этой древней песни. Мы взволнованно слушаем ее. Наконец певцы смолкают.

Мы идем дальше. Нам вслед несутся дробные, частые звуки разудалой плясовой песни, слышатся лихие «ухи» и «охи» пляшущих трепака казаков. Хор заливается, быстро перебирая и прищелкивая:

Скыну кожух да пальцю,
Сама пиду на улыцю.

Хай кожух валяется,
За мной хлопцы гоняются...

— Какие они милые, хорошие,— говорит Ирина Петровна,— ласковые, простые люди. Ведь я раньше вовсе не знала их. Вы первые казаки, с которыми мне приходится встретиться так близко.

Гуляем по шоссе. Отошли уже довольно далеко. Огоньки Аб-Герма остались позади, песня и гиканье неясно долетают до нас. Мне невыразимо уютно и тепло с этой милой, простой и умной женщиной. Говорим о стихах Блока. Она декламирует «Незнакомку» и, не закончив, переходит к последней строфе «На железной дороге»:

Не подходите к ней с вопросами,
Вам все равно, а ей — довольно...
Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена... все больно.

Голос Ирины Петровны звучит проникновенно и задушевно.

Мы молча проходим еще несколько шагов. Мне радостно идти с нею, хочется молчать и слушать ее нежный, мелодичный голос. Ничего дурного, ничего пошлого. Только чувство разделенного одиночества сближает нас. Я понимаю ее состояние. На далеком, заброшенном этапе, среди сотен проходящих мужчин, интеллигентная, с богатым духовным миром женщина тоскует о жизни, к которой она привыкла. Город, общество, любимая наука, книги, театр. Как от всего этого далеки темные, окружающие Аб-Герм холмы!

— Вы тоскуете здесь? — спрашиваю я.

— Вообще да, но два обстоятельства заставляют забывать о скуке — работа и чувство долга. Народ так мучается, так страдает на этой войне, что нам, тыловикам, стыдно думать о себе.

Признаюсь, я не ожидал такого ответа. Мне казалось, что я услышу от нее горькие жалобы на забросившую ее в эту глушь судьбу.

— Вот только принесут ли эти страдания ему пользу? — медленно, как бы думая вслух, говорит Ирина Петровна.

Я не понимаю, о чем говорит она.

— Несомненно! Слишком великие жертвы принесла Россия, и немыслимо, чтобы они пропали даром. Да иначе и не может быть. Ведь теперь не тысяча девятьсот пятый.

Ирина Петровна крепко жмет мне руку. Ее глаза сияют.

— Как вы сказали? Теперь не тысяча девятьсот пятый год? — взволнованно повторяет она.

— Конечно. Война многому научила нас. Мы тоже стали разбираться в жизни.

— Значит... значит,— почти вплотную приближая ко мне свое лицо, говорит она,— казаки в случае... не будут стрелять в народ?

— Вы хотите сказать: в случае революции?

Она молча наклоняет голову.

— Ни в коем случае! Девятьсот пятый год не повторится.

Она пристально смотрит мне в глаза испытующим взглядом, потом тихо и ласково целует в лоб и нежно, очень трогательно проводит ладонью по моей щеке.

— Спасибо,— еле слышно говорит она. Потом, тесно прижав к себе мой локоть, поворачивается, и мы медленно идем назад к Аб-Герму.

Встретившая нас в коридоре сестра милосердия лукаво улыбается:

— Хорошо прогулялись?

— Да! — коротко отвечает моя спутница.

Попрощавшись с нею, иду к себе. Нежность и большая благодарность к этой еще недавно незнакомой и так внезапно ставшей мне близкой женщине охватывает меня. Я не чувствую более одиночества. Как, в сущности, немного надо тепла людям, когда они лишены его. Я оборачиваюсь и с благоговением смотрю в сторону дома, где светятся окна сестер. Потом иду в отведенный нам флигель.

— Ну что, поженихались? — слышу я сбоку вкрадчивый, любопытствующий голос Химича.

— Что вы! Просто гуляли, говорили о литературе,— отвечаю я, раздеваясь.

Дурацкая фраза прапорщика грубо врывается в мое восторженное, лирическое настроение.

— Ну да, лите-ра-тура! — недоверчиво тянет Химич.— Небось повезло?

Я поднимаю голову. На меня глядит освещенное луной круглое, с подкрученными вверх усами лицо прапорщика. Оно выражает такое неудержимое любопытство, что я обозленно говорю:

— А ну вас к бесу!

Химич молчит. Потом, видя, что я лежу, зарывшись в подушки, сердито сопит и, считая меня заснувшим, бормочет:

— Гарбуза получил, а на других злится. Ухажер! — И, сонно позевывая, укладывается спать.

На рассветедвигаемся дальше. Проходя мимо пункта, я с сожалением бросаю взгляд на белые занавески в окне. Вчера я еще не знал о существовании Ирины Петровны, а сегодня мне кажется, что я распростился со старым, хорошим другом. Сколько таких коротких дорожных встреч хранит моя память!..

Идем. Следующая остановка в Корре. Незаметно добираемся до него. Снова чай, короткий отдых. И опять в дорогу под горячим, палящим солнцем.

Эту ужасную жару я начинаю ненавидеть, и, если бы не благодатный ветерок, набегающий с отрогов Синджарских гор, мы давно истекли бы морем пота. Медленно и однообразно ползет время. Кажется, что солнце остановилось на месте. Его диск окутан беловатой пеленой. Прямые злые лучи больно жалят незащищенные лицо и руки. Воздух колеблется и переливается в степи знойным маревом, смутно похожим на волнующуюся кружевную завесу. Рукоятки шашек и стволы винтовок нагрелись. Высокая трава не шелхнется, застыв под голубым палящим небом.

Но вот белая пелена все сильнее окутывает солнце. Его лучи тускнеют, теряют свой нестерпимый блеск. Колеблющиеся темные пятна поднимаются на горизонте. Казаки с облегчением вскидывают головы.

— Быть дождю,— поглядывая на небо, говорит Химич.

— Должон быть. Не иначе как накроет нас в степу,— подтверждает вахмистр.

— Давай бог! Измаялись вконец,— слышатся голоса, и все с надеждой устремляют взоры на быстро мрачнющий горизонт.

Через полчаса половина его уже покрыта свинцово-серой громадой туч, свесившейся над землей и плывущей нам навстречу. Солнце еще раза два пытается прорваться через эту завесу, но в конце концов безнадежно тонет в ее черной гуще. Сразу темнеет. По долине пробегает ветер; его порывы теребят поникшую траву. Кони усиливают шаг, тревожно прядут ушами. Снова порыв ветра и глухой, неясный гул. Тучи опускаются совсем низко и накрывают степь своим черным крылом. Каза-

ки расторачивают бурки, нахлобучивают папахи, надевают башлыки. Через минуту вся сотня превращается в вереницу черных теней.

— Ну и климат! — восклицает Химич. — То сдыхаешь от жары, а то кутаешься, как от морозу.

Черную мглу прорезает огненный зигзаг молнии. На какие-то доли секунды ее вспышка освещает дорогу. По равнине гулко и раскатисто несется удар грома. Молнии следуют одна за другой. Грохочет гром. Дождь хлещет во всех направлениях. Его струи падают и сверху, и с боков, подхлестываемые быстрыми и сильными шквалами ветра. Небо точно взбесилось. Кажется, что наверху прорвалась какая-то гигантская плотина. Мой башлык намок, за бепмст просочилась вода. Бурка тяжело повисает на мне. Под ударами ветра и от резких, больно бьющих в глаза капель кони останавливаются. Мы подгоняем их. Казаки примолкли и, в тщетной надежде спастись от дождя, кутаются в бурки.

Вдруг туча раскалывается. Одна половина ее уплывает вперед, а вторая разрывается на ряд отдельных небольших островков. Эти островки белеют и проплывают мимо. В провалах между ними показывается солнце. Его лучи пробегают по земле радостными, игривыми зайчиками. Оно смелеет, с минуту словно раздумывает, а затем, как бы вспомнив свое назначение, гонит прочь побеседенные разбегающиеся облака. Ветер стих. Трава поднимает стебельки и тянется к солнцу. На ее изумрудной зелени блестят мириады капель.

— Побрызгал малость и айда домой, — шутят казаки.

— Спать пишов до жинки.

Бурки и башлыки скатаны и снова приторачиваются к луке. Через десять минут долина принимает прежний вид, и только прибитая к земле дорожная пыль еще напоминает о промчавшемся ливне.

— А ну, песенники, вперед! — кричит Гамалий.

Казаки неохотно тянутся из рядов.

— Станичную, чтоб дома не журылысь! — приказывает командир.

Уж ты са-ад, ты мой сад...--

тянет высоким тенором запевала.

Сад зеленый, виноград...—

подхватывают остальные, и тягучая, заунывная песня, воскрешающая в памяти дорогие сердцу станичные левады, звенит и несется над чужой, персидской равниной.

Откуда-то вновь появились стрижи, и жаворонки опять звенят над степью.

— Собрать сотню, Лукьян! — приказывает Гамалий. — Господам офицерам быть на своих местах!

Вахмистр идет исполнять приказание. Мы уже часа два как пришли в Диз-Абад. Люди пообедали и сейчас, покуривая крученки, валяются на траве и ведут «балачки».

— Что вы собираетесь им сказать? — спрашиваю я.

— Хочу объяснить казакам цель нашего рейда. Люди, идущие на неизвестность, должны хотя бы немного знать о трудностях, которые ожидают их.

Горнист играет сбор. Его труба заливается, и я вижу, как отовсюду — из-за кустов, из пункта, от коновязей, — вскакивая с земли, бегут к вахмистру казаки. Наконец сотня в сборе. Она стоит развернутым фронтом лицом к дороге и ожидает офицеров. Мы подходим и становимся по местам. Показывается Гамалий. Я командую: «Смирно!» — и на его приветствие сотня рявкает десятками голосов.

— Справа и слева заходи! — командует есаул, и оба фланга быстро загибают полукольцо вокруг него.

Мы находимся внутри образовавшегося круга.

— Вольно! Садитесь! — говорит Гамалий.

Все усаживаются, и есаул начинает:

— Ну, братки, время пришло, и я должен рассказать вам, куда идет сотня. Ни вчера и ни позавчера я не имел права говорить: было еще рано...

— Да мы и так знаем, вашскобродь, — перебивает его из толпы чей-то голос.

— Цыть! Не мешай! — несутся негодующие голоса, и нехстати заговоривший казак робко умолкает.

— Да... А теперь уже можно рассказать, куда и зачем мы идем. Идем мы через степь, что вон за теми горами. По ту сторону степи — река, за рекой опять степь, а за нею пустыня. Может, слышал кто про пустыню? — оглядывает он напряженно слушающих казаков.

Кое-кто кивает головой.

— Но пустыня эта особая, нестрашная. С садами, деревнями и с холодной водой. Живут там люди — арабы — и не тужат.

Все под рукой — и скот, и хлеб, и вода. И вот мимо них, мимо деревень арабских...

— Оазосы! — радостно кричит, высовываясь вперед, Востриков. — Оазосами прозываются, вашскобродь.

— Да, оазисами... Так вот через них пройдем и мы и за ними уже встретимся с нашими союзниками — англичанами, к которым посланы. Мы непременно должны соединиться с ними, потому что через две-три недели начнется совместное наступление против турок. Отсюда — мы, оттуда — они. Они уже ждут нас. Им сообщили туда по беспроволочному искровому телеграфу, и нам навстречу будут посланы конные части. Конечно, когда мы вернемся назад, то нас встретят как героев, и после этого похода я обещаю вам, всей сотне, месячный отпуск домой. Вернетесь в станицы георгиевскими кавалерами, с деньгами и подарками, и будет чем порадовать стариков дидов, когда будете рассказывать им об этом знаменитом походе. С завтрашнего дня, братики, как только перейдем позиции, мы уже считаемся в заграничной командировке, и каждый из вас, рядовых, будет получать от меня по рубль двадцать пять копеек золотом в день, приказные — полтора рубля, младшие урядники — по рубль семьдесят пять копеек, старшие — по два рубля, а вахмистр — по три рубля. Таким образом вы соберете и деньги на отпуск.

Казаки заулыбались, и какая-то шутка пробежала по толпе.

— В чем дело? — спросил Гамалий.

— Да кто вернется живым, деньгу здорово зашибет, — ухмыляясь, говорит Карпенко.

— А кто нет? — лукаво поддержал его Сухорук.

— А тому крест в поле да чикалки¹ над ним.

— Ну, не нюжить! На то и война, чтобы воевать. А здесь что, лучше, что ли? Разве завтра нас не могут бросить в бой? Не те же пули, не то же самое? А тиф? А лихорадка? Что там говорить! Казаку горевать не о чем. Сел на коня — так уж неси службу честно. Недаром о нас слава за моря бежит.

— Да уж известно: слава казачья, да жизнь собачья, — вздыхает кто-то рядом, и дружный смех бежит по рядам.

— Кто деньги загребет лопатой, а над кем землю лопатой сгребут, — говорит урядник Скиба и грустно смотрит на меня.

Ему сорок лет, и рядом с ним, в его же взводе, бок о бок, служит его сын Данило, да еще в станице осталось трое детей.

¹ Шакалы.

— Ничаво, папаня, авось дойдем,— ухмыляется сын.

Гамалий оглядывает казаков. Глаза его вспыхивают, и он похож на большого разъяренного быка.

— Так... хорошо... очень хорошо! Бабы вы, вот вы кто, а не казаки! А вдруг не «вернэтесь»... Так що ж с того? — Он злится и переходит на украинский язык: — Ну що ж, як вы не вернэтесь, то думаете, сгине Россия, сгинуть казаки? Ни! А то колы вы будете лякатысь, як мали диты, то и вы, и казацтво, и слава сгинуть. Хиба тут краще? А ну, побачимо? Кажный день в караули, в нарядах, в розъездах, в фуражировке, а тут що хиба не можно знайти смерть? Можно, скільки хочеш. А тут не мае опасности? Ще бильш! И так, братья мои, з мисяця в мисяць, з рока в рик. Так що ж, кажу я вам, чи в новину нам, казакам, таки дила? Ни! Мы звычни до них. Як батьки наши привыкали на Кубани, як диды-горюны в Запорожской сичи. Але гирко слухаты, що казаки злякалысь, гирко бачиты, що воны струхнулы. Бабы в станицы засмеють нас: нишлы, та не дийшлы! Ай ты все, однако, пидэм, бо хто не пидэ, того расстреляють як собаку. Важко, дуже важко буде иты, але треба. И мы пойдем, и мы соединимся. А потом вернемся обратно и всей же сотней поедем на родную Кубань!

Гамалий замолкает. Его возбужденная, взволнованная речь подействовала на казаков.

— Та що ж, вапскобродь. Мы разве отказываемся аль що? Хочь не хочь, все, одначе, пидэм. Тилько мы казали, що трудно,— раздались голоса.

— Иван Андреич! — раздвигая толпу и выходя вперед, говорит старый Пацюк, всеми любимый и уважаемый казак.

Ему уже пятьдесят три года, но он еще крепок и бодр. В 1904—1905 годах он под начальством Мищенко¹ сражался на полях Маньчжурии. В эту кампанию он добровольцем пошел на фронт, как он сам говорил, «добуты золотого Егория, аль бо деревянного». Пацюк был из той же станицы, что и Гамалий, и даже приходился ему каким-то родственником.

— Иван Андреич, не гнивайся, що хлопцы балакають в сердцах. Не дуже гарне воны гуторять, та що зробишь, казацька душа така! Языком бреше, що та собака, а сердцем каже — «ни». Чи впервой тоби слухать ци балачки, так и наши диды и батьки, колы ходылы на туркив пид Сулин тай Плевну, балакалы. А що выйшло? Балакалы, а потом йшлы и былысь и руба-

¹ Генерал, командовавший соединением конницы в русско-японскую войну.

лысь як львы. Так и мы. Кажем, що сумно та гирко, и то правда. А що не сумно? А чи богато з нас кто вернэться до дому? Чи богато казаки побачуть ридну Кубань та жинок с дитками? Ни, дуже мало. Бильше поляжуть тут, у цьому степу,— одни от пули, други от жары. Но, Иван Андреич, не сумуй. Треба, так мы пидэм, и так ще пидэм, що небу жарко будеть! А що з нами станеться, не будем гадаты, бо то одному Богу звистно.

Простая, искренняя речь «дида» Пацюка взволновала казаков.

И, уходя, они запели свою любимую песню:

Ты, Кубань, ты наша родина...

В восемь часов вечера в Диз-Абад из Хамадана прибыл штабной автомобиль; в нем приехали майор Робертс, полковник Каргаретели и какой-то молодой армянин. Все трое уединились в комнате коменданта. Туда же был вызван и Гамалий.

Я остался с казаками. Беседа с командиром не прошла для них без пользы. Узнав о трудностях похода, они тщательно проверяли и чистили оружие; кузнецы осматривали копыта у коней; пулеметчики смазывали свои машины; гранатчики вместе со мною занимались пробным метанием холостых гранат. Химич, на которого было возложено наблюдение за хозяйством сотни, метался по пункту, добывая у неповоротливых интендантских чинуш консервы, фураж и спирт.

На мой вопрос, на что ему «огненная влага», он хитро ухмыльнулся:

— Для смазки ран.

Пузанкова и Горохова тоже охватила горячка. Они пихали в тюки все то, что можно было оставить здесь. Мы пойдем налегке. Весь колесный обоз остается при пункте до нашего возвращения.

Зуев выглядит грустным и с утра ходит сам не свой. На мой вопрос, что с ним, он как-то неловко улыбается и виновато бормочет:

— Меланхолия.

Диз-Абад выглядит типичным, близким к позициям тылом. Здесь сосредоточены пехотные резервы, подвижные артиллерийские парки, несколько лазаретов, штаб боевого участка и еще десятка два различных учреждений. По шоссе все время проносятся автомобили и мотоциклетки, с грохотом катятся двуколки, скрипят присланные из России громоздкие молокан-

ские фуры. Где-то пехотная гармошка весело откалывает барыню. Сверкая новенькими пиками, важно разъезжают верхами нижегородские драгуны, считающие себя привилегированной частью, чем-то вроде «местных гвардейцев».

На пункте завывает рожок, сообщая о том, что ужин готов. Отовсюду тянутся люди, вооруженные мисками и котелками. По шоссе, в сторону Маньяна, удаляются санитарные повозки с очередной партией раненых и больных солдат. Над головой гудит аэроплан. Он пересекает позиции и низко проплывает над нами, возвращаясь в Хамадан. Самолетами мы не богаты. На этом фронте их всего шесть штук, из которых летают лишь три; остальные три никуда не годятся и ржавеют в авиационном парке под Шеверином.

Поздно ночью возвращается Гамалий. Он приводит с собою гостя. Это маленький, с умным, выразительным лицом, черненький армянин, которого штаб корпуса посылает с нами в качестве переводчика. Одет по-военному, но только без погон. На боку у него изящная кобура с новеньким браунингом, на груди «ученый» значок. Он очень прост, но это простота умного, знающего себе цену человека. Он сразу же внушает к себе доверие и уважение. Джеребьянц, как зовут этого господина, окончил Лазаревский институт восточных языков, затем служил драгоманом в русских консульствах в Адене, Бейруте и Бендер-Бушире. Он несколько раз бывал в Багдаде, хорошо знает английский и арабский языки, отлично владеет турецким и многими местными туземными наречиями. Держится наш новый спутник скромно, но с достоинством. В нашем рискованном путешествии такой человек нам положительно необходим. Гамалий назначает ему вестового из казаков и приказывает вахмистру отобрать для мосье Джеребьянца лучшего заводного коня.

— Кстати, господа, вы знаете последнюю неприятную новость? — говорит Джеребьянц.

— Нет. В чем дело? — спрашивает Гамалий.

— Только что получено сообщение о том, что генерал Таунсхенд со всем своим корпусом капитулировал в Кут-эль-Амаре.

Мы ошеломлены. Правда, англичане еще в конце прошлого года потерпели тяжелое поражение при Ктезифоне, а затем были окружены в Кут-эль-Амаре, на нижнем течении Тигра, но английские сводки до сих пор категорически утверждали, что войска Таунсхенда вот-вот будут освобождены посланными им на помощь из Басры крупными подкреплениями. У самого Та-

унсхенда было не менее девяти тысяч солдат в строю, и, принимая во внимание слабые боевые качества турецких войск, о капитуляции никто не думал. Теперь, по сведениям Джеребьянца, спешившая на выручку осажденным английская армия быстро откатывается к Басре.

— Позвольте! — говорит Гамалий. — А как же мы посланы на соединение с англичанами, если они отходят? Где же мы их найдем?

Джеребьянец разъясняет, что отступила только восточная английская колонна, западная же, занявшая в прошлом году Кербелу за Евфратом, пока держится северо-западнее Багдада, где нет значительных турецких войск. И все-таки это английское поражение крайне осложняет нашу задачу. А вдруг англичане, испугавшись за свои коммуникации, отступят и от среднего течения Тигра, не дожидаясь нас? Что тогда?

Аветис Аршакович оказался культурным и начитанным человеком. Он привез с собою много свежих новостей и слухов, которые если и доходили до нас, то превращались в дороге в малодостоверные сплетни. Перед назначением в эту командировку Аветис Аршакович был в резерве чиновников-переводчиков Министерства иностранных дел и около шести месяцев прожил в столице. Он рассказывает нам, что недовольство войной растет, поражения на западе колеблют веру в победу, а истории с Распутиным и бесконечная министерская чехарда возмущает не только народ, но даже и придворные круги.

— Распутин сам ничто, просто хитрый мужик; но он орудие, ловкое и опасное орудие, в руках немецкой партии при дворе, — говорит Джеребьянец. — И что особенно страшно — сам государь целиком во власти этих фредериксов, ниловых, воейковых и им подобных.

— А императрица? — спрашиваю я.

Джеребьянец молчит и затем тихо отвечает:

— Ее величество возглавляет эту партию.

Гамалий крикает и многозначительно говорит:

— А бис их разбере, хто на кому иде — чи поп на батькови, чи попадьа на дядькови. Наше дело маленькое: поменьше политики, побольше пороху.

— Да, но ведь это доведет Россию до революции, — Аветис Аршакович при последнем слове снижает голос до шепота.

— Ну и что ж? — не без иронии спрашивает Гамалий.

— Как «что ж»? Это значит — поражение на фронтах и бой с народом.

— Воевать с народом не будет никто, ибо сам народ на войне. Запомните это, друг мой. Сейчас не армии воюют, а народы. А насчет чего прочего,— Гамалий тихонько смеется про себя,— невелика беда. А теперь, орлы, спаты, спаты, бо на зори в дороженьку.

Мы ложимся на разостланном на земле душистом сене.

После Диз-Абада мы должны свернуть к шоссе и, не доходя до позиций, перейти фронт у Кемгевера по одному из ущелий массива Джебель-Синджар. Гамалий приказывает подтянуть вьючный обоз: позиции недалеко, и отрываться от сотни рискованно.

Идем горами. Узенькое ущелье скрывает наш маленький отряд от нескромных глаз. Громады скал, брошенных рукою неведомого исполина, теснятся, лезут друг на друга и в беспорядке свисают над нами. Между ними высоко вверху узенькой полоской голубеет небо. По дну ущелья бежит буйная, говорливая речушка. Она бьется о камни, сверкает алмазными брызгами и спешит куда-то вниз. Десятки таких же быстрых и шаловливых, но меньшего размера ручейков вливаются в нее. В ущелье сыро. С угрюмых камней каплет просачивающаяся вода. По утесам сбегает струйки и плещутся крохотные водопадики. Позиции остались далеко позади, вернее, в стороне. Было совсем еще темно, три часа утра, когда мы прошли мимо наших фланговых постов и проникли на неприятельскую территорию. В предрассветном сумраке дошли до горы Джебель-тау, откуда по плану и должны двигаться вперед по любому из многочисленных горных проходов. Идем молча. Впереди, саженьях в двухстах от нас, маячит взвод Зуева, высланный дозором. От него в стороны пущено наблюдение — по три пеших казака, скрытно бредущих между скалами. Часто останавливаемся. Во-первых, спешить некуда, так как днем нам все равно не следует выходить из ущелья, а во-вторых, дозор часто вводит нас в смущение, неожиданно останавливаясь на пути.

Вся сотня подтянулась. Казаки серьезны. Вьючный обоз не отрываясь идет посреди отряда. Бок о бок со мною едет переводчик, с другой стороны — Химич; его стремя позванивает о мое. Гамалий сосредоточен.

В его руке зажат компас, глаза все время бродят по вделанной в полевую сумку десятиверстке. Сейчас главное — не сбиться с направления и не уклониться в сторону от намечен-

ного пути. Дозоры опять остановились. Остановились и мы. Зуев спешивается. Видно, как он о чем-то советуется с казаками и, поддерживая шашку, лезет с урядником на скалы. Мы слезаем с коней. В ущелье темно. Теснина здесь еще уже, и небо едва видно. Прохладно и сыро. Казаки тычут шашками в неглубокую воду, пугая стаи краснобоких форелей. Мы следим, как прапорщик с Сухоруком добираются до верхушки одной из высоких скал и, припав на колени, ползут по ней.

— Что они там увидели? — ни к кому не обращаясь, спрашивает Гамалий.

Видно, как Зуев прикладывает к глазам бинокль и долго водит им по ущелью. Наконец он что-то говорит Сухоруку, и тот быстро спускается по круче вниз.

Через минуту один из казаков скачет к нам.

— Ну что у вас там? — говорит Гамалий.

— Пыль, вашскобродь, за горою стоит. Прапорщик Зуев просят обождать, пока воны не вызнают, откуда она.

Гамалий с минуту думает, затем обращается ко мне:

— Борис Петрович, поезжайте-ка и разузнайте, в чем там дело, что за пыль.

Я подгоняю Орла. Он неохотно отрывается от общества других коней. Мой вестовой Дерибаба трусит за мной.

Дозор стоит у высокой скалы. Казаки спешились и равнодушно оглядывают ущелье. Я отдаю коня Дерибабе и лезу по покатой круче вверх, к Зуеву, ящерицей распластавшемуся на серой скале. Сзади меня пыхтит Сухорук. Мелкие камни срываются из-под ног.

Наконец добираемся до прапорщика, подающего нам рукой какие-то таинственные знаки. Утес, на котором мы лежим, высотой с десятиэтажный дом и, наверно, весит не менее пятнадцати тысяч пудов. На его серо-желтом угреватом фоне нас невозможно заметить, мы лежит пластом и не отрывая глаз смотрим вперед. Наши бинокли шарят по простирающейся внизу равнине, где над полоской пересекающей ее дороги столбами клубится пыль. Что взбудоражило и взметнуло ее, трудно разглядеть. Может быть, это обоз или артиллерия, а может быть, и просто интендантский скот, перегоняемый турками к тылам своих позиций.

Я переползаю сажени четыре, снимаю папаху и, прячась за выступ скалы, осторожно бросаю взгляд вниз. Пыль приближается. Теперь уже ясно видны конные фигуры и длинные серо-зеленые ящики, быстро катящиеся по дороге. Итак, совсем

близко от нас, в какой-либо полуверсте от притаившейся в ущелье сотни, спешит на позицию неприятельская батарея. Ее конвоирует пол-эскадрона подтянутых, щеголеватых сувар¹.

Их пики поблескивают на солнце; четко видны выкрашенные в защитный цвет орудия. Пушки и их эскорт с лязгом и шумом рысью проносятся мимо нас и исчезают в вихре поднятой ими пыли.

— Вот бы их атаковать! — страстно шепчет мне Зуев. — В два счета пушки стали бы наши.

— Пушки от нас не уйдут, а вот продвигаться вперед надо, — говорю я и по примеру урядника сползаю вниз.

Дозор вновь движется вперед и исчезает за поворотом. Я машу рукой, и сотня медленно приближается ко мне. Докладываю Гамалию о батарее.

— Это хорошо. Если здесь так свободно гуляют пушки, почти без прикрытия, значит, турки пока и не подозревают о нашем рейде.

Я выражаю свое удивление: откуда они могли бы это знать?

— Источников много. Во-первых, военная разведка; во-вторых, болтовня наших начальников, местных жителей да, наконец, перехваченное и расшифрованное радио. Ну и мало ли еще что. Во всяком случае, надо тщательно скрываться еще дня три, а потом фронтовая зона врага останется позади, и в Курдистане нам уже будут не страшны турки. Там придется иметь дело с курдскими вождями.

Ущелье становится похожим на штопор. Оно все состоит из сплошных поворотов, изгибов и зигзагов. Мы упорно и настойчиво преодолеваем этот лабиринт и медленно идем вдоль реки. Постепенно скалы раздаются. Уже видна не тоненькая полоска неба, а большая синяя лазурь. Появляются кусты, зеленеет трава. Река расширяется и замедляет свой стремительный бег.

— А ну, Дерибаба, скачи до прапорщика и кажи йому, щоб дали не ходив. Пусть спешится и стоит дозором до приказа, — говорит Гамалий.

Мой Дерибаба подхлестывает кобылу и мчится к дозору.

— Переждем здесь до ночи: днем идти опасно. Можно нарваться на людей и обнаружить себя.

Я соглашаюсь. Слезает. Кони жадно тянутся к траве. Казаки ослабляют подпруги, некоторые лезут в кусты.

— Не распускать коней! — кричит Гамалий.

¹ Турецкие кавалеристы.

Дозоры прилегли по краям ущелья и сливаются с серыми скалами. Казаки жуют сухари и еще какую-то снедь. Мы в свою очередь закусываем крутыми яйцами, запиваем их водой из ручейка. Солнце стоит высоко в небе. Полдень. В этой яме предстоит провести еще не менее семи-восьми часов. Насытившись, казаки заваливаются спать, кроме немногих сторожащих стреноженных коней. Несколько самых завзятых рыболовов рыщут между камнями и пытаются колоть кинжалами бесчисленных форелей, стаей мелькающих в голубоватой воде. Этот способ охоты не очень удачен, и рыболовы переходят на другой: бросают тяжелые камни на камни, торчащие из воды, затем отворачивают их, и из-под них беспомощно, сверкая белыми брюшками, выплывают полумертвые, оглушенные рыбки. Добыча чуть крупнее мизинца, но это не расхолаживает ловцов. Спустя час ко мне нерешительно подходит Пузанков, один из главных инициаторов и участников этой оригинальной ловли.

— Вашбродь, ребята рыбаки хотят сварить, ушицы похлебать. Разрешите в пещоре огонек раздуть.

— В какой «пещоре»?

— А вот туточки пещора есть,— он указывает пальцем на кусты.

— А ну пойдём взглянем!

Иду, раздвигая кусты. В скалах на самом деле чернеет дыра какого-то грота, к нему ведет узенькая, еле заметная тропа. Это открытие не радует меня. Значит, ущелье с этим дурацким гротом посещается людьми. Зажигаю одну за другой несколько спичек. Они слабо вспыхивают и мерцающим светом озаряют высокую круглую пещеру со свисающими вниз гранитными сталактитами. Кое-где валяются остатки соломы и овечьего помета; видны следы догоревших костров. Стены закопчены дымом.

— Пастушеская пещера, где укрываются от непогоды стада,— решаю я.— Ну, дело еще не так плохо. Можно, варите уху, только не разводите большого огня.

Казаки пускаются на розыски хвороста, а я от нечего делать иду наверх к дозору. Но и дозорные, разморенные теплом и горным ветерком, прикорнули на согревшихся камнях и мирно, безмятежно похрапывают. Только часовой и подчасок бодрствуют, оглядывая бескрайнюю степь, простирающуюся за выходом из ущелья. Присаживаюсь к ним, даю закурить, и мы молча всматриваемся в синеющий простор. Степь, холмы, ложбины, снова степь — и так без конца и без края. Кое-где вьется

столбом пыль, крутятся и играют шаловливые смерчи, колыхается трава и курятся сизые дымки. Мы видим, как далеко в стороне от нас тянется темная колонна, вероятно, обоз. За одним из холмов черной точкой выныривает и исчезает мотоциклет. Моментами до нас еле слышно доносится рокот его мотора.

Меня берет истома. Ложусь на спину и засыпаю.

Просыпаюсь часа через три. Солнце уходит на запад. Внизу в кустах копошатся люди. Стреноженные кони подскакивают и прыгают по траве. Я слезаю вниз. Здесь уже ждет нас чудесный обед. Пузанков ставит на траву котелок, полный горячей дымящейся ухи. Не беда, что рыбешка вся разварилась и вместо нее в мутной жиже плавают какие-то малюсенькие кусочки, зато уха вдоволь наперчена и густо посолена. Мы с наслаждением хлебаем ее, причем Гамалий умудряется выловить из котелка целую рыбешку. Химич отобедал раньше нас и теперь пьет чай, блаженно сопя. Зув спит. Скитания по скалам утомили его. Уху сменяет холодная курица, после чего следует живительный чай с неизменным шоколадом.

— А хорошо попить на воздухе чайку,— мечтает вслух Гамалий, и его усы тонут в огромной эмалированной кружке.

После обеда лежим на траве и изучаем карту. Продолжать путь решаем с наступлением темноты, причем будем брать все влево, пока не отойдем наконец от хребта Джебельтау. Казаки опять спят. Тем лучше. Им необходимо накопить силы перед трудным переходом.

Сумерки наступают часов в семь. В восемь мы стягиваем дозоры, а еще через полчаса в непроглядной темноте двигаемся вперед и покидаем гостеприимное ущелье.

Аветис Аршакович целый день проспал, поднимаясь только для того, чтобы поесть, после чего вновь кутался в бурку и продолжал прерванный сон. Теперь он бодро и твердо держится в седле. Идем без дороги, ориентируясь по светящейся стрелке компаса и по рассыпанным на небосводе ярким звездам. Часто ныряем в какие-то балки и овраги, но умные, чуткие кони спускаются в них осторожно и снова выносят нас наверх. Время от времени останавливаемся, чтобы подождать отставших. Наконец привыкшие к темноте глаза различают впереди что-то вроде горы. Казаки тихо говорят сзади:

— Село, вашбродь, не иначе село.

В самом деле где-то глухо лают собаки и неясно мерцают огоньки. Впрочем, может быть, это звезды или просто так ка-

жется насторожившемуся глазу. Из предосторожности обходим невидимый поселок и попадаем на дорогу. Долго стоим на месте, зажигая под бурками спички и разглядывая десятиверстку. Так и есть, мы около персидского села Тулэ. В нем, по нашим предположениям, должен стоять какой-нибудь неприятельский отряд. Надо уходить, пока не поздно. Спешиваемся, ведем в поводу коней и под покровом ночи обходим некстати попавшееся на пути село. Идем больше часа, и оно остается далеко позади. Снова садимся на коней и продолжаем путь. Идем тихо, настороже. Только изредка громко фыркает чей-либо конь, и сейчас же раздается негромкая ругань казака:

— Тю! Щоб ты сказывся, тю!

Переваливаем через не слишком высокий хребет.

— Это Джебель-Синджар,— уверенно говорит Гамалий.

Итак, еще день-два, и мы будем далеко от турок. Но что ждет нас там, среди курдов? Я не питаю на этот счет особого оптимизма, но оставляю свои размышления при себе. Ночная мгла сгустилась и приняла странную окраску. Кажется, будто мы плывем в сплошном чернильном море. Чувствуется близость рассвета. Нужно спешить, ибо мы можем двигаться еще часа полтора, а затем придется скрываться где-нибудь в ложбине, пережидая день. Идем, спускаемся, поднимаемся, спешиваемся. Так за ночь мы проходим верст пятьдесят. Мало. Но что делать? Наконец добираемся до глубокой ложбины и прячемся в ней.

— Где мы? — осведомляюсь я.

— А бис его знае. Десь-то между Синджаром и Аллагерскими горами,— сердито отвечает Гамалий.

Измученные переходом казаки буквально валятся на землю.

— А ну не распускать коней! Кому говорю, не распускать коней, черти! — злится командир.

«Черти» вскакивают и вяло покрикивают:

— Ну, ты! Куда?

— Н-но! Стой! Тю!

Постепенно все успокаивается. Небо разом светлеет, как будто с него содрали темную пелену. Звезды растворяются в белесой гуще. Луна, не соблаговолившая появиться ночью, теперь, бледная и ненужная, бродит по небосклону. В сероватой мгле все резче проступают очертания оставленного позади горного массива. Горы вырастают перед нами. Окончательно погасли звезды, уползла мгла, и «румяной зарею покрылся восток».

Вот мы и в Персидском Курдистане. С каждым шагом мы все далее углубляемся в эту дикую, мало разведанную горную страну, населенную племенами, своеобразный быт которых поражает наше воображение. Каждая область делится на владения могущественных феодалов, являющихся одновременно и шейхами, и племенными вождями и непрерывно враждующих между собою. Понятно, что главной страдающей стороной в этой вечной войне являются простые труженики курды. В общем, здесь царит полное средневековье. Мои представления о курдах самые смутные. По описаниям английских путешественников-разведчиков и по словам людей, никогда здесь не бывавших, это самые настоящие разбойники, живущие набегами и грабежами. Кровавая месть, поджоги селений, убийства из-за угла, похищения являются якобы излюбленным занятием местных жителей, а их фанатическая ненависть к иноверцам не знает пределов. Однако уже наши первые соприкосновения с курдским населением вносят коренные поправки в эту мрачную, нарисованную пристрастной рукою картину. Но об этом позже. Сейчас же мы входим в район силахоров, высоких смуглых красавцев, сверкающих ослепительно белыми зубами. «Силахоры изменчивы, как ветер в пустыне», — говорят о них. Их редкие по дерзости набеги создали им далеко вокруг нелестную славу. Но вызывается ли этот «разбой» лишь корыстными интересами? Курды — одна из самых угнетенных национальностей Среднего Востока. Не имея своего государства, разделенные персидско-турецкой границей, они живут в невероятном бесправии как в той, так и в другой стране, подчиняясь вдобавок деспотической власти собственных феодалов. Деревей (властители долин), чьи замки орлиными гнездами господствуют над ущельями, имеют право жизни и смерти над своими «подданными» и сколачивают из них военные шайки для осуществления своих разбойничьих авантур. Но, выступая под их знаменами против персидских или турецких поработителей, простой курд ошибочно воображает, будто он сражается за свое национальное освобождение.

Высылаемые против них персидские карательные отряды кончают тем, что либо запираются в городах за крепкими, неприступными стенами, либо вынуждены смиренно торговаться с предводителями племени и уплачивать им дань за право невредимыми убраться восвояси.

Впрочем, в данный момент все это нас мало интересует. Нам важно лишь одно: как отнесутся силахоры к нашему проходу?

Робертс заверял, что они дружелюбно настроены к англичанам. Если это так, то надо ожидать, что нам не придется особенно плохо среди них.

Идем древними путями, без дорог, по компасу, стараясь держаться ложбин, низин, ущелий. Днем кормимся и спим, ночью же оживаем и в темноте ползем вперед. Наступают уже пятые сутки со времени перехода нами позиций у Диз-Абада.

Сегодня, осматривая конский состав, Гамалий нахмурился. Значительно увеличилось число коней с набитыми спинами, со стертыми холками. Животные отощали, слабеют, выглядят понуро. В случае неуспеха на них далеко не уйти.

— М-да... — бормочет Гамалий. — Це тилько цвиточки, а ягодки попереду.

Да, ягодки будут впереди, за Курдистаном... если... если, конечно, мы сумеем проскочить через него благополучно. Питаемся солониной, запиваем ее холодной водой и ожидаем ночи. Лица наши погрубели, кожа слезла с носов, щеки впали и покрылись бурой щетиной. Да, эти ночные скитания нелегко даются нам. На бедного переводчика жалко смотреть. Он ослабел, осунулся и выглядит совсем больным, хотя старается бодро держаться в седле и ни разу не проронил ни слова жалобы. Химич безразлично тянет лямку, как будто все это так и надо. Десятилетняя сверхсрочная служба вахмистром сделала из него прекрасную автоматическую машину. Зуев молчит. У него все какие-то странные порывы. Случается, что он часами замыкается в себе и не говорит ни слова. В такие минуты его не дозовешься, он, видимо, забывает все, даже еду. Иногда же им неожиданно овладевает буйная, веселая радость, и он носится среди казаков, шутит, смеется, говорит без умолку и снова становится прежним беззаботным прапором. В такие минуты Гамалий искоса поглядывает на него и, чуть покачивая головой, роняет:

— Чудит юноша... истерр-рия.

К ночи вновь пускаемся в путь.

Мы обнаружены. Правда, мы давно уже подозревали, что о нашем продвижении известно далеко впереди, но в глубине души и я и есаул таили робкую надежду, что ошибаемся. И вот сегодня пришлось убедиться окончательно: наши опасения оправдались. Высланный нами на заре разъезд был внезапно обстрелян с горы. Командовавший разъездом Химич, помня приказания есаула, на огонь не ответил, а рассыпав казаков в лаву,

стал медленно продвигаться вперед. Выстрелы смолкли, и, когда казаки достигли того места, откуда их только что обстреляли, их взорам представилось лежавшее у подножия горы село, из которого в панике и смятении бежали люди; по улицам метались женщины, загоняя скот к своим дворам.

Химич немедленно выкинул белый флаг и остановился перед селом, не входя в него. Этот маневр оказал свое действие. Суматоха несколько улеглась, и через полчаса к разъезду направилась группа стариков без оружия, с хлебом и фруктами в руках. Предупрежденные связным, мы с переводчиком поскакали вперед. Когда мы подъехали, старики были уже в нескольких саженьях от нашего разъезда. Аветис Аршакович обратился к ним с речью, заявив от имени Гамалия, что мы идем с добрыми намерениями, никого не собираемся обижать и, наоборот, надеемся встретить гостеприимство со стороны жителей. Старики согласно закивали головами, поддакивая ему. Затем один из них, видимо старшина, поблагодарил за посещение села, за наше миролюбие и заявил, что мы будем встречены как добрые гости, но тут же обратился с просьбой не вступать в село, а расположиться где-нибудь около него, на открытом воздухе. Гамалий успокоил стариков, сказав им, что мы вообще не собираемся задерживаться здесь и через час двинемся в дальнейший путь. К моему удивлению, я не заметил в глазах у стариков выражения особой радости при этих словах.

Из села к нашему привалу потянулась вереница мальчишек. Они несут овечий сыр, плоские лепешки из пшеничной и рисовой муки, большие макитры с молоком и медом. Казаки рады свежей и вкусной пище и стараются наестся как можно плотнее. Наконец все насытились. В уплату за угощение Гамалий дает старикам пять золотых монет. Крестьяне долго с удивлением и недоверием разглядывают незнакомую чеканку червонцев, передают их из рук в руки, а кое-кто даже пробует их на зуб, видимо сомневаясь в том, настоящее ли это золото.

— Передайте им,— просит Гамалий переводчика,— что это русское золото и что оно самое лучшее, самое полноценное в мире.

Я вспоминаю фразу Робертса: «Другой золото не имеет там цены» — и невольно улыбаюсь при виде довольных стариков, явно опровергающих своим поведением заносчивые слова английского майора.

Золотые монеты скрываются в кармане старшины. Затем один из стариков подходит к Гамалию и в длинной витиеватой

речи, построенной, по словам Аветиса Аршаковича, по всем канонам туземного красноречия, благодарит его за благожелательное отношение к населению. Пользуясь явным переломом в наших отношениях, командир расспрашивает его о турках и о дороге, ведущей в Зергам-Тулаб — местность, где мы должны найти дружественного англичанам могущественного хана Шир-Али, к которому нам дал письмо Робертс. Ободренные золотом, старики теряют свою сдержанность, становятся словоохотливыми и сообщают много интересующих нас сведений. Оказывается, мы слегка отклонились от намеченного по плану пути и сейчас находимся во владениях лурского хана Сардар-Богадура, объявившего себя «нейтральным», чтобы вытягивать деньги и оружие и у турок и у англичан, как конфиденциально сообщает на ухо Джеребьянцу один из стариков. Вот они, «надежные английские адреса». В довершение всего, по словам того же старика, при особе Богадур-хана в настоящее время находится в качестве советника турецкий полковник из штаба Джемаль-паши. Час от часу не легче. Полученное предупреждение сулит нам серьезные осложнения на нашем пути. Но мы рады ему. Обстановка проясняется, и нам легче подготовиться к неожиданным сюрпризам.

Распрощавшись со стариками, берем проводника и, обойдя село, направляемся к Узуну, где, по обещанию Робертса, должны найти «наших сторонников».

Затерянная, удаленная от крупных персидских центров страна, без надежных путей сообщения. Самобытные, дикие племена, над которыми власть тегеранского правительства является чисто номинальной. Бедные селения и деревеньки. Но вот уже десятилетия как здесь кишат английские агенты и разведчики. Некоторые из них принимают ислам и селятся среди племен под видом купцов и негоциантов. Они не жалеют золота на подкуп вождей и старшин, с удивительной энергией и ловкостью пропагандируют идею мировой мощи Британии, поднимают племена против персидских властей, делая их слепым орудием английской политики. И вот какой-нибудь Робертс, сидя в пятистах верстах от этих гор, дирижирует местными симпатиями и настроениями так, как ему предписывают из Лондона.

Проводник едет в стороне от меня, изредка перебрасываясь двумя-тремя словами с Джеребьянцем. Он совсем не похож на обитателей Персии, которых мы оставили за чертой Хамадана, робких, приниженных, с пугливым и покорным выражением глаз.

Независимая манера держаться, гордо поднятая голова этого смуглого красавца напоминают мне наших кавказских горцев.

Снова ныряем в ущелье и идем по ведомой лишь проводнику тропе. Вокруг скалы и первозданный хаос нагроможденных камней.

Я сдерживаю коня и понемногу отстаю.

— Ну и каминя! Що у нас на Кавкази. И хто их стілько наворотыл? — вполголоса ропщет едущий рядом Сухорук.

— Та, цього добра скільки хочеш, бильше не надо,— резонно замечает Востриков.— И кому це надо? Невже ж нам? — Он осторожно смотрит на меня полувопрошающим взглядом.

— Что именно?

— Та от камнив цих. Хиба у нас своих мало? Пид Казбеком их ще побильше найдется.— Он снижает голос и досказывает свою мысль: — Невже нам це треба? Та у нас, вашбродь, ще на сто лит своей хорошей земли на всю Рассею хватить.

Сухорук молчит, но жадно вслушивается в разговор. По лицу его видно, с каким интересом он ждет моего ответа.

— Не знаю. Это за нас другие знают.

— Э-эх, всегда так: за нас другие думают, а мы для других делаем.— В его голосе слышится горькое разочарование.

Путь все так же безнадежно уныл: скалы, утесы, камни... Растягиваемся длинной прерывистой вереницей. Дорога поражает нас своими капризами и фантазиями. Она то заставляет нас сползать глубоко вниз, то снова карабкаться на крутые гребни горы. Местами она неожиданно исчезает, теряясь среди камней. Если бы не наш проводник, мы не прошли бы и половины пути в такой короткий срок. Наконец выбираемся из ущелья и выходим на проезжую дорогу. Впереди из-за холмов приветливо выглядывают зеленые кущи садов и высокие серые стены Узуна. Собственно говоря, это не сам Узун, а ханское поместье, гордо высящееся над лежащим в полуверсте от него, в долине, селением. Подходим ближе. Гамалий останавливает сотню, приводит ее в порядок, подтягивает отставших и затем приказывает мне:

— Возьмите двух казаков и поезжайте с господином Джеребьянцем к хану Шир-Али. Передайте ему это письмо Робертса. Аветис Аршакович имеет инструкции и знает, что ему надо сказать.

Мы отделяемся от сотни и скачем к высоким стенам ханского дворца. В селе уже заметили нас. Там начинается суматоха, но, в отличие от встреченных нами утром, жители не прячутся,

а выбегают нам навстречу с ружьями. Их действия не оставляют нас в заблуждении. Теперь уже отчетливо видно, как они рассыпаются перед селом в цепь и наводят на нас стволы винтовок.

Я останавливаю казаков, выбрасываю предусмотрительно захваченный с собою белый флаг и в сопровождении переводчика и проводника шагом подъезжаю к цепи. Из нее выходит высокий, черный, обвешанный оружием курд. Он неприязненно смотрит на нас и ждет объяснений. Аветис Аршакович начинает пространную речь. Он сообщает о том, что мы друзья хана, прибывшие издалека, и что хан предупрежден о нашем посещении. Мы ждем от хана, чтобы он принял нас как друзей, ибо мы везем ему письмо и привет от его английского друга майора Робертса. Джеребьянц пускает в ход все приемы восточного красноречия, страстно закатывает глаза и бьет себя в грудь, но его излияния не производят ни малейшего впечатления на мрачного курда.

— Хана нет. Вот уже месяц как он отбыл на поклонение святым местам,— коротко отрезает он, а его злые глаза ясно говорят: «Убирайтесь сейчас же к чертям!»

Мы ошеломлены. Как это уехал на богомолье, когда всего две недели тому назад Робертс получил от него письмо с благодарностью за присланные деньги?

— Не может этого быть. Ты, наверно, ошибаешься. Я хорошо знаю, что хан должен быть здесь,— уверяет курда Аветис.

— Нет, он уехал. Я сам провожал его в путь,— тем же враждебным тоном говорит курд.

Из цепи к нам пробирается еще одна странная личность — маленький одноглазый старикашка с огромной зеленой чалмой на голове. Он долго молча разглядывает нас, затем злобно плюет на землю. Жест этот не оставляет никаких сомнений относительно его чувств к нам.

— Передайте им, что мы обязательно должны повидаться с ханом, так как у нас к нему важное дело, и мы не уйдем отсюда, пока не получим ответа на письмо.

— Тогда мы будем драться,— не задумываясь заявляет черный курд и лезет обратно в цепь.

Зеленый старикашка шипит какие-то ругательства и ковыляет за ним. Мы обескуражены. Молча поворачиваем коней и возвращаемся к стоящей вдали сотне.

— Ну що? — осведомляется Гамалий, хотя по его лицу видно, что он уже догадался о постигшей нас неудаче.

Я докладываю.

— Що за черт! Чи воны там белены оббились?! — возмущается он и ударяет наганкой коня. Конь срывается с места и мгновенно выносит его вперед. В ту же секунду хлопают выстрелы, и пули шмелями начинают жужжать вокруг нас

— Сотня, слеза-ай! — команду я быстро и отвожу казаков за холм. Пули все чаще посвистывают над нашими головами.

— Вот тоби и встретил нас хан, — говорит Химич. — Хай ему грец на кинец, собаци!

Через минуту на холме показывается Гамалий. Он разозлен. Конь так и вертится под ним.

— Не подпускают близко, подлецы; нарочно подняли треск, а конь, окаянный, пугается выстрелов, не идет.

Стрельба затихает. Мы стоим в глупом ожидании. В суматохе сбежал наш проводник, и мы только сейчас заметили его отсутствие.

— Хай йому, собаци, болячка на спыну, — посылают вдогонку беглецу казаки.

Совещаемся. Надо что-нибудь предпринять. Или обойти ханское село, или же, что вовсе не желательно, хотя бы и с боем добраться до хана и передать адресованное ему письмо. После минутного обмена мнениями решаем сделать новую попытку завязать переговоры. Несомненно, хан сидит, запершись в своем дворце, и вместе с каким-нибудь турецким эмиссаром не без интереса разглядывает нас в бинокль.

— Нехороший симптом, — говорит есаул. — Это значит, что англичан где-то здорово поколотили турки, иначе этот дядя не встретил бы нас огнем.

Снова двигаемся вперед. Сотня рассыпается лавой. Я еду впереди с одним из взводов. В руке у меня огромный белый флаг, надувшийся, как парус, под ветром. Но опять трещат выстрелы, и на этот раз пули ложатся метко, почти у самых наших ног. Проклятые башибузуки ловко пристрелялись к нам. На левом фланге кто-то слезает и медленно уводит за холм хромящего коня.

— Наза-ад! — командует есаул. Ему во что бы то ни стало хочется избежать столкновения.

Стрельба умолкает. Ждем. Время идет.

Вдруг один из казаков, выставленных в дозор, сбегает к нам вниз.

— Вашбродь, едут делегаты! — на ходу кричит он.

Мы с Гамалием быстро взбираемся на холм. Действительно, к нам на рысях приближается небольшая кавакальда. У одного из всадников в руках виден большой белый платок.

Выезжаем вперед. Сотня остается в ложбине.

Перед нами все тот же курд. По-видимому, он послан самим ханом, ибо держит себя до крайности нагло. Не покидая седла, он кричит:

— По приказанию брата жены хана, заменяющего моего господина до его возвращения, предлагаю русским немедленно покинуть наши места. Если через полчаса вы не уйдете, будем драться с вами и начнем стрелять из пушек.

Как ни нелепо и глупо наше положение, но эта наивная попытка запугать нас стрельбой из орудий заставляет улыбнуться.

Откуда в этой забытой богом глуши могла взяться артиллерия? Курд замечает наше недоверие и гордо добавляет:

— Их у нас целых пять штук. И пусть русские не думают, что мы намерены шутить.

С этими словами он поворачивает коня и, не слушая наших окриков, наметом скачет обратно. За ним как черти несутся, вздымая пыль, его провожатые.

— Вот паглец! В другое время я бы его, стервеца, стегнул из пулемета, — хмурясь и покусывая губы, говорит Гамалий. — Однако пужно уходить. На кой черт нам затевать ссору с этими людьми.

Обсуждаем положение. Ясно одно: следует уходить. Однако из свособразного озорства по предложению Зуева решаем переждать полчаса, отдохнуть, подзакусить и только по истечении срока «ультиматума» удалиться из этого негостеприимного места. Смотрим на карту. Следующий этап — село Ахмедие, куда мы прибудем только завтра к вечеру. Там мы должны вручить местному хану письмо Робертса. А что, если и он встретит нас столь же мило и дружелюбно, как Шир-Али здесь?

Время тянется, как белые облака, ползущие над нами. Ленивая истома охватывает нас, не хочется вставать с этой зеленой и радостной земли. Сказывается утомление бесконечной дорогой.

— По коням! — звенит голос Гамалия, и мы разбредаемся по местам. — Са-а-дись!

Взбираемся в седла. И в ту же минуту где-то за селом бухает один, за ним второй, третий глухие удары. Мы с недоумением переглядываемся.

Гамалий смотрит на часы.

— Какой аккуратный народ! — улыбается он. — Ровно полчаса — и уже палят пушки.

Казаки дружно смеются: так нелепа и смешна сама мысль обстрела нас из пушек в диких трущобах Курдистана. Какой-то странный, свистящий звук наполняет воздух. Он несется сверху и приближается к нам. Поднимаем головы. Воздух наполняет воющий гул. Звук все усиливается, растет. Прямо над нами что-то шипит и саженьях в двадцати от сотни тяжело шлепается на мягкую траву. Изумление наше растет. Что-то круглое, окутанное синим пороховым дымом, крутится по земле. От него тянется сизая, вонючая, пахнувшая порохом струя.

— Ядро! — кричит Гамалий, и мы рассыпsemся в стороны.

Проходит минута, две. Снова свист, и около первого ядра тяжело шлепается второй чугунный ком, за ним третий. Они шипят и скачут по траве, испуская клубы вонючего дыма. Казаки не понимают, в чем дело. Им, побывавшим в тяжелых сражениях нынешней войны, в диковинку зрелище старинного ядра.

Мы стоим саженьях в тридцати от места падения снарядов. Удивление остановило нас. Мы глядим на эти «грозные» музейные ядра, которыми угощает нас «гостеприимный» хан. Наконец первое ядро с треском разрывается. От него в стороны летят комья земли, вырывается красный огонь, взлетает черный столб дыма. Вторые два жалобно сипят и не разорвавшись затихают. Громовые раскаты смеха, более оглушительные, чем разрыв ядра, потрясают поле. Мы чуть не валимся с коней. Слезы текут по хохочущим лицам. Гамалий не может выговорить ни слова, он согнулся в седле и захлебывается от этого неожиданного развлечения.

— Хо-хо-хо! — громко несется по ложбине.

— От то бисови диты! Прямо кумедия, — грохочет, утирая ладонью слезы, Гамалий.

— Ровно репа на огороде, — находит меткое сравнение Химич.

— Да репой, вашбродь, баба больше вреда причинить может. А это что? Пшик — и готово, — говорит Востриков.

— Потухли, как два самовара, — определяет Карпенко.

Он соскакивает с коня и бежит к мирно валяющимся, успокоившимся ядрам.

— Не трогать! — орет Гамалий. — Не трогать! Могут разорваться.

Но Карпенко уже ухватил одно из ядер в руки и забивает трубку землей.

— А ну давай-ка сюда.

Я беру ядро. В нем фунтов шесть, оно чугунное, круглое, напоминает гирию из мучного лабаза. Как-то странно смотреть на него в наше время, когда на немецком фронте летают сорокапудовые чемоданы и рвут землю в клочья многотонные фугасы.

— Чем хвалились запугать, черти окаянные! — волнуется Зуев. — Иван Андреевич, разрешите со взводом в атаку на эти пушки, — умоляет он.

— Не горячись, не горячись, прапор, — охлаждает его пыл Гамалий. — Пушки взять — небольшое дело, особенно же такие, как эти. А вот нам надо без драки через горы пробраться — это главное для нас, — заключает он.

— А что, вашбродь, неужто таким пукалками на самом деле воевали? — любопытствует Пузанков.

Ядра путешествуют из рук в руки, вызывая шутки казаков.

— Еще как! Поставят такую перед фронтом на сто шагов и приказывают: «А ну, ребята, не двигайся, не уклоняйся! В кого попадет — не убьет, в глазшибанет — окривеешь». Ну и палят. День бьют, второй бьют. Гул идет, дым валит, вонь стоит, а убитых все нету. Вот простреляют так все заряды, а потом мирятся. Хоро-ошая была ране война-то! — зубоскалит Востриков.

— Хо-хо-хо! — несется в ответ по сотне.

— Ежели в пузо вдарит — убьет! — глубокомысленно решает кашевар Диденко, почему-то прозванный казаками «куканом».

— Не убьет, рожать будешь, — утешает его Востриков.

Веселый хохот заглушает его слова.

— Ну, будет, — говорит Гамалий. — В путь, шагом ма-арш!

И мы гуськом, всего только в ста саженьях, огибаем село, проходим мимо него. Гамалий это делает нарочно, чтобы дать понять хану и его людям, что мы не боимся его «грозных» пушек и что мы мирно идем дальше по своему пути. Казаки сами, без разрешения командира, дружно затягивают «Тай не с тучушки...». Все сто глоток во всю мочь поют родную станичную песню. Стены дворца молчат. Не видно ни людей, не слышно ни единого выстрела.

— Порох кончився, мабудь, клепки у пушек рассохлись, — острит Востриков.

Ночью останавливаемся в какой-то ложбине, наскоро съедаем консервы с сухарями и заваливаемся спать. Бесконечная дорога утомляет нас, и теперь у всех только одно желание: побольше и поудобнее поспать.

Ночи здесь холодные. Кутаюсь в бурку, под голову кладу переметные сумы, на глаза поглубже натягиваю папаху и мгновенно засыпаю.

Утром, чуть еще светает за холмами, садимся на коней. По дороге к нам присоединяются выставленные на ночь караулы. С ними и Зуев. Солнце медленно показывается за гребнями гор. Путь наш идет по дну глубокого ущелья, стиснутого цепью серых, словно изгрызанных скал. Эта глубокая горная щель напоминает мне Дарьяльское ущелье с его отвесными, неприступными утесами. Только здесь вместо буйного и непокорного Терека бежит еле заметная речонка. Вероятно, в дни таяния снегов картина резко меняется и по этому высохшему руслу мчатся грозные, разбушевавшиеся потоки горных вод.

Ущелье все уже. Наши дозоры бредут среди камней. Время от времени спешиваемся для того, чтобы осторожно провести коней среди сотен беспорядочно разбросанных валунов.

— Фермопильское ущелье,— смеется Гамалий.— Здесь любой курд может стать греческим Леонидом.

Как бы в подтверждение его слов, впереди на скалах что-то мелькает. Наши дозорные поспешно слезают с коней.

— Сто-ой! — командует Гамалий, и мы направляем на подозрительные скалы свои бинокли.

На верхушке показываются и прячутся темные точки. Неожиданно грохочет сухой, прерывистый залп. Гулкое эхо тянется по ущелью, гроыхая и отдаваясь в скалах. Один из дозорных падает. Пули частым дождем сыплются с утесов, отбивая куски щебня, высекая искры и расплющиваясь о камни. Кони ржут и шарахаются по сторонам.

— Слезай! — кричит Гамалий.

Люди соскакивают с коней и прячутся за выступами скал. Выводим часть коней в безопасное место, за поворотом дороги. Здесь они, скрытые низко свесившимися выступами скал, не видны и не уязвимы для врага.

— По цепи часто начи-и-най! — командует Гамалий, и бодрые, заливающиеся голоса наших винтовок смешиваются с сухим треском лебелевских трехзарядок противника.

Неприятель стал осторожнее. Наши пули, как видно, ложатся хорошо: высокие курдские тиары и темные фигуры реже высовываются из-за скал. Пули цокают, рикошетируют и прыгают по камням. За большим гранитным выступом фельдшера перевязывают раненых. Я слышу стоны и прерывающийся голос:

— Ой... боже ж мий... болыть... болыть!.. Ой... боже... дуже горыть.

Голос кажется мне знакомым, но сейчас я не могу вспомнить, чей он. Мысли отвлечены перестрелкой и залегшим в камнях противником.

— Стрелять реже! — кричит Гамалий. — Беречь патроны!

Частая стрельба переходит в редкий, замедленный огонь. Так проходит несколько томительных минут. Курды смелеют и, очевидно, считают себя победителями. На гребне хребта осторожно вырастает несколько фигур. Они пытаются разглядеть нас, но мы притаились, и нас не видно. Кучка увеличивается, и хребет оживает. На нем суетится десятка два странно одетых, обвешанных оружием людей.

— А ну, Зозуля, двинь! — негромко, сквозь зубы, цедит Гамалий.

Зозуля тщательно целится, долго ловит мушку — и по ущелью проносится характерное пулеметное тра-та... та... та... Курды бросаются врассыпную. Несколько из них падают, и сейчас же горы озлобленно и неистово гудят от частой, беспорядочной пальбы.

— Сотни полторы, не больше, — говорю я.

— Не будет. Десятка четыре, а то и меньше, — уверенно отвечает есаул. — Хорошо, черти, сидят, пулеметами не выбьешь. Вот что, друже, берите с собой гранатчиков, один «люис» и ползите в обход. Доберитесь до этих чертей и спугните их. Иначе до утра будем без толку сидеть здесь, теряя время.

— Слушаю-с!

Перебегаю между камнями и оттягиваю за собой десятка два гранатчиков с ручным пулеметом. Высокие скалы скрывают наш уход. Ущелье гудит от ожесточенной пальбы. Как видно, Зозуля «дернул» весьма удачно, и озлобленные курды палят в отместку вовсю. Мы выползаем за поворот ущелья. Здесь под утесом спрятаны кони и обоз, тут же импровизированный летучий лазарет. У большого камня сидят двое раненых. У одного завязана голова и ало кровянеет намокающая повязка. Это приказный второго взвода Горобец. Он тихо покачивается и грустным взглядом смотрит на меня. Другой, фуражир Трохименко, стонет и сквозь зубы тянет:

— Ой... Ой!..

Он лежит на спине. Зеленая гимнастерка задрана кверху, а на животе зияет большая рваная рана, из которой скупой бегающей темной, уже запекающаяся кровь. Брюки намокли от

крови, глаза раненого устремлены в небо. В них боль и смертельная тоска.

— Ой... же ж... ой, болыты! — жалуется он.

Фельдшер мочит ему лицо холодной водой и смазывает йодом края раны. Мы проходим мимо. Казаки сумрачны. Карпенко тихо шепчет мне:

— Кончается. «Воробьем»¹ в живот угодило. Все кишки развернуло.

Между коноводами неожиданно вижу старика Скибу. У него большой белой гулькой торчит забинтованная кисть руки.

— Ранены?

— Так точно! — вытягивается он. В его глазах, как мне кажется, мелькает радость.

— Ему что, — продолжает Карпенко, — самую мякоть прострелило. Вернется в станицу ероем.

— Ты еще вернись, — не оборачиваясь сухо кидает Сухорук.

Я совещаюсь с казаками. Наскоро вырабатываем план действий и лезем в гору, прячась за камни. У каждого из нас помимо винтовки по пяти готовых, заряженных гуммаровских гранат. Ориентируемся по звуку выстрелов и забираем все вправо, для того чтобы, обойдя курдов, выйти им в тыл. Ползти трудно: болит грудь, устают руки и ноги, не хватает дыхания. Часто даем себе короткий роздых: надо сохранить силы для того, чтобы в решительный момент энергично атаковать врага. Иногда из-под ног срывается большой камень и с шумом летит вниз, в ущелье. Тогда все замирают на месте и со злостью накидываются на неосторожного. Ползем уже больше получаса. Проклятый хребет все еще далеко. Хорошо, что скалы здесь выщерблены частыми ветрами и с нашей стороны представляют нечто вроде углубления, прекрасно скрывая нас от взоров противника.

Впереди я и Сухорук; остальные гуськом тянутся за нами. Наконец доползаем до одного из гребней. Громкие потрескивания винтовок слышатся совсем близко, чуть влево от нас. Я осторожно машу рукой, указывая казакам обходное движение. Они удваивают предосторожность. Лица их побледнели, глаза серьезны и насторожены: приближается решающий момент. Я доползаю до верхушки и прилипаю к ней. В голове неотвязно сверлит одна мысль: «А что, если их здесь сотни две-три?» Заглядываю вниз. Маленькая ложбинка с зеленовато-серой

¹ Крупнокалиберная пуля старинного ружья.

горной травой, дальше ряд камней, за ними выступы скалы, за которыми щелкают винтовки. Там курды. Ниже нас, саженьях в тридцати, у отвесной скалы пасутся кони противника. Около них валяются на траве человек пять сторожей. Они мирно покуривают, не подозревая о близкой опасности. В моей голове быстро созревает план. Если б мы могли поодиночке незаметно доползти вон до тех серых скал, то десятка-двух гранат было бы больше чем достаточно, чтобы обратить в бегство этих беспечных людей. Я делюсь своими соображениями с Сухоруком.

— Так точно! — соглашается он. — Все одно кончать надо. Подползем к камням, а оттуда крикнем «ура» та гранатами в них. А пулемет, вашбродь, надо не иначе как поставить здесь, и, когда они кинутся до коней, мы их отсюда пулеметом и гранатами. А ежели, не дай бог, не совладаем, опять же здесь нам защита — пулемет.

— Очень хорошо.

Сухорук шепотом объясняет казакам задание.

Ползу первым, за мной тянется Карпенко, за ним Сухорук и так дальше. Пулеметчик и двое казаков залегают в камнях. Трава шуршит и ложится подо мной. Серые, седые усики ковыля попадают в ноздри; хочется чихнуть, но пересиливаю себя. Вот и ложбинка. Сползаю в нее, быстро перебегаю и снова на животе ползу вверх. Сердце учащенно бьется, каждая жилка взволнованно трепещет и судорожно напряжена. Вот и серая грудa нагроможденных друг на друга камней. Обтираю рукавом черкески обильный пот со лба. Подползает Сухорук, за ним остальные. С минуту отдыхаем, проверяем капсули и гранаты. Сбоку от нас трещат выстрелы и слышатся гортанные громкие голоса. В воздухе носится горьковатый запах горелого пороха.

— С богом! — шепчу я и приподнимаюсь над камнями.

Под нами, на небольшой, усеянной острыми зубцами площадке, лежат и стоят десятка четыре людей. Половина из них, свесившись над провалом, непрерывно стреляет вниз, другие покуривают и болтают. Около них сложено несколько винтовок и лежит грудa патрснташей и мешочков с патронами. Секунду я медлю, затем шепотом команду:

— Приготовьсь!

Казаки вытягивают назад правые руки, в которых поблескивают граненые углы гранат.

— Пли! — команду я — и двадцать три гуммаровские бутылки летят в гущу разлегшихся людей, разрываясь среди них с оглушительным грохотом.

Снизу поднимаются столбы пламени и во все стороны разлетаются смертоносные осколки. Эхо гулко грохочет по ущелью.

— Пли! — снова командую я.

Снова грохот, взрывы, огонь и исступленные крики.

— Ура! — хрипло и страшно кричим мы и, вскочив на ноги, кидаемся из-за прикрытия.

Впереди всех, выкатив глаза, задыхаясь от бега и размахивая над головой винтовкой, бежит Карпенко, за ним сбегает мы.

Но торжествовать победу не над кем. Разрушительные гуммаровские бомбы сделали свое дело. Трупы застыли и замерли в самых нелепых и неожиданных положениях. Один был застигнут гранатой в тот момент, когда, запрокинув голову, жадно пил из фляги воду. Другого смерть застигла в ту минуту, когда он заряжал винтовку. Двое тяжелораненых корчатся от боли.

Пробегаем дальше. Сбоку грохочут пулеметы. Это наша засада крошит немногих добежавших до коней курдов. Снизу несется радостное, несмолкающее «ура». Это сотня приветствует нас. Мои казаки разбежались по камням и подбирают раненых курдов. Кое-кто постреливает вдогонку удирающим.

— Вот, нашли двоих,— докладывает Карпенко, выводя из-за камней дрожащих от страха людей.

Один из них ранен осколком гранаты, лицо его обожжено и испещрено мелкими царапинами. Другой невредим. Они оба молчат и не отводят от меня своих молящих взоров. У раненого текут по лицу слезы, смешиваясь с выступающей из царапин кровью.

— Не бойсь, дура, не убьем,— добродушно тянет Карпенко.— На, пожуй-ка, беднота, казацкого хлебца!

Он шарит по карманам и откуда-то из глубины их вытягивает небольшой замызганный сухарь и обмусоленный кусок сахара с налипшими на нем крошками махорки. Видно, что ему жалко оробевшего курда, и он прибегает к единственно понятному способу утешить и успокоить его.

— На, небога, поишь. Хиба мы не люди,— говорит он, стараясь вложить возможно более мягкости в свой голос и дружелюбно шлепая курда по плечу.

Пленники немного ободряются.

— Тоже ж люды,— вздыхает Дерибаба.

— А то що ж? Таки ж, як и мы.

— Мабудь, дома диты зосталысь.

— Не лякайтесь, бидолагы, ничего вам поганого не буде,— дружелюбно успокаивают обступившие пленных казаки.

Пленные смотрят на нас испуганными, непонимающими глазами.

— Манн на фарадж кердэм¹,— говорит высокий курд.

Мы показываем знаками, что не понимаем.

— На мидани²,— неожиданно выпаливает Карпенко, и мы все смеемся.

Карпенко, довольный собою, заливается больше всех. Этот добродушный смех окончательно успокаивает курдов, они сами начинают робко усмехаться, о чем-то переговариваться друг с другом.

— Однако, ребята, вы их тут порядком накрошили,— слышу я голос Гамалия, вылезающего из-за гряды камней.

С лица есаула капает пот, он запыхался, карабкаясь напрямик по круче.

— Увести их вниз, раненого немедленно перевязать,— приказывает Гамалий, кивая на пленных.

Казаки сводят их в ущелье. Мы взбираемся на скалы и осматриваем с высоты окрестности.

— Дорого обошлась им наша задержка. Вероятно, побили человек двадцать? — осведомляется есаул.

— Двадцать три. Он воны скрозь по камням валяются,— уточняет Сухорук.

Мы обходим убитых. Казаки обыскивают трупы, вытягивая из карманов и поясов всякую всячину. У некоторых найдены какие-то бумажки, которые Гамалий бережно складывает в свою сумку. В виде трофеев казакам достаются кривые курдские ножи. Трое счастливицов нацепили на себя снятые с убитых пистолеты системы «Маузер». Трупы оттаскиваем в сторону. Под скалой лежат побитые из пулемета кони.

— Да, много побили народу,— сокрушенно качает головой Гамалий.

— А наши потери? — спрашиваю я.

Лицо Гамалия темнеет и передергивается:

— Четверо. Двое ранены легко, один тяжело — Трохименко, в живот, вряд ли выживет. Один убит.

— Кто?

— Сергиенко. Наповал!

¹ Я не виноват.

² Не понимаю (перс.).

— Вична память,— говорит Карпенко.— Хороший був казак, царство ему небесне.

Казаки снимают кубанки и крестятся. С минуту молчим. Внизу змеятся ущелья, уползая в черные складки гор. Зеленеют луга. Кругом тишина. Какая мирная картина!

— Ну, надо двигаться,— прерывает молчание Гамалий.

Цепляясь за выступы, сползаем по откосу вниз.

Аветис Аршакович уже успел допросить пленных, отобрал нужные сведения и сейчас передает их нам. Оказывается, курды эти принадлежат к кочующему племени силахоров. Всего день тому назад их нанял хан Шир-Али, приказав перерезать нам путь и заставить нас возвратиться вспять. Было их всего сорок пять человек под предводительством Анатуллы-хана, убитого в стычке. Турок поблизости нет, дорога на юг свободна, и, по словам пленников, нам ничто больше не угрожает впереди. Пленники клялись Кораном, что они не виноваты в нападении на отряд и что сделку с Шир-Али без их ведома заключил их начальник Анатулла.

— Скажите им, Аветис Аршакович, что мы не хотели этого побоища. Если б они не напали на нас, не пролилось бы напрасно столько крови. Пусть они не боятся, ничего дурного мы им не сделаем и, как только выйдем из ущелья, отпустим восвояси. Пусть они возвращаются к своим и передадут, что русские не хотят воевать с курдами и идут через их страну с мирными намерениями. Мы никого не грабим и не обижаем, но и никому не позволим безнаказанно нападать на нас.

Аветис переводит. Курды слушают, кивают головами и затем наперебой стараются убедить нас в том, что, узнав о нашем миролюбии и благородном поступке с пленными, их соплеменники свободно пропустят нас через свои владения.

— Врут, сукины дети! Порубать бы их всех! — слышу я негодующий голос за спиной.

Это приказный Тимошенко, родственник убитого Сергиенко. Но его предложение не встречает сочувствия среди казаков.

— Чего рубать-то? Хватит. И без того накрошили не дай бог сколько. Будет тебе зверовать! Тоже Аника-воин! Все рубать, так и руки-то устанут,— слышатся сзади недовольные голоса.

Гамалий оглядывается:

— Ну-с, тихо там, без разговоров.

Казаки умолкают.

Дозорные дают сигнал, и мы медленно, шагом, продвигаемся к выходу из ущелья. Медленно, потому что сзади на конных

носилках тяжело стонет и бредит не приходящий в себя Трохименко. Трохименко — вестовой Зуева. Огорченный прапорщик спешился и вместе с фельдшером не отходит от раненого.

— Родственники они, — сочувственно объясняет Химич, — с одних хуторов.

Часа через полтора Зуев подъезжает к Гамалию.

Он расстроен, лицо его бледно, в голубых глазах блестят слезы.

— Кончился Трохименко... — дальше он не в состоянии говорить и отворачивается.

Мы снимаем папахи, ближайšie к нам казаки крестятся. По рядам пробегает:

— Кончился... Помер.

— У-эх-х, жизнь наша казацкая! Жил человек и нема уже его, — угрюмо роняет Химич.

Я искоса поглядываю на казаков. Они насупились и опустили взоры. Не одному из них, вероятно, приходит в голову мысль о том, что, может быть, и его ждет такой же конец.

Ущелье кончается. Впереди расстилаются поля. Перед нами зеленеет небольшая, вся усыпанная цветами ложбинка. По ее дну бежит вода, склоны заросли кустами боярышника. Гамалий останавливает сотню, ожидая, когда подтянутся обоз и санитары. Дозорные спускаются с гор.

— Прапорщик Химич! Выставить по холмам караулы, вперед на дорогу выслать разъезд! — приказывает Гамалий.

По суровому тону его голоса я чувствую, каких усилий стоит ему скрыть свое волнение. Он слезает с коня и идет через всю сотню к носилкам, на которых лежат двое мертвых казаков. Сергиенко осунулся, весь посерел и обтянулся. Его мертвая, негнувшаяся рука вывалилась из носилок и тянется к зеленой, сверкающей траве. Трохименко, еще не успевший остыть, лежит совсем как живой, и только глубокая скорбная складка у губ да полуоткрытый безжизненный глаз говорят о том, что это труп. Черкески и гимнастерки убитых намокли бурой кровью, белые бинты перевязок кажутся покрытыми ржавчиной. Гамалий останавливается перед мертвецами. Он долго смотрит на них, рука его нервно сжимает рукоятку кинжала. Вся сотня, обнажив головы, в безмолвии стоит за ним. Тихо, точно на кладбище, и только ржание застоявшихся коней изредка нарушает гробовую тишину.

Наконец Гамалий опускается на колени и крепко, по-мужски, целует покойников в лоб. По его щеке катится слеза, на се-

кунду задерживается на кончике уса и соскальзывает на бешмет. Казаки часто крестятся.

— Кто знает погребальную молитву?

Неловкое молчание. Все смотрят друг на друга, как бы ожидая найти знающего церковную службу, но такого нет. Гамалий приказывает:

— Взять лопаты и копать могилу под этим кустом.

Вахмистр с тремя казаками роют могилу. Летят комья влажной земли. Солнце сверкает на лезвиях лопат. Солнечный луч задерживается на мгновение на убитом Трохименке. Он озарил его мертвую, неподвижную голову и пробежал по полуоткрытому глазу.

Не знаю почему, от этого ли внезапного веселого зайчика или оттого, что у нас были взволнованы и напряжены нервы, но глаз принял живое, смеющееся выражение, как будто лукаво подмигнул нам.

Что-то тоскливое и невыразимо скорбное прорезало сознание, и в ту же минуту Гамалий быстро нагнулся и закрыл глаз убитого.

— Готово, вашбродь, — доложил Никитин.

Казаки подняли носилки и поднесли их к глубокой, аршина на два, яме. У самого ее края все остановились. Высоко над нами светило жгучее солнце, голубело южное лазоревое небо, пели чужие птицы.

Гамалий сделал знак.

— Отче наш, иже еси на небеси... — громким, высоким голосом зачитал Востриков.

Эта общеизвестная молитва заменила весь длинный, сложный и неведомый нам похоронный обряд.

— Аминь! — прогудело по толпе, как только Востриков произнес последние слова.

Замелькали десятки крестящихся рук.

— Опускайте! — негромко проговорил Гамалий, и казаки, укутав убитых в бурки, медленно опустили их в яму.

На груди мертвецов положили кое-как связанные из срубленных веток кресты и могилу стали засыпать. Холм рос, и вскоре на том месте поднялся небольшой курганчик.

Казаки заботливо обложили его зелеными ветвями, а сверху вместо креста навалили несколько огромных камней, для того чтобы шакалы и бродячие собаки не разрыли могилу.

Поминутно мусоля огрызок карандаша и долго царапая им, Востриков вывел на серой поверхности верхнего камня: «Здесь

убитые лежат казаки Трохименко и Сергиенко. Вечная память». Под надписью он нарисовал небольшой кривой крест.

— По коням! — глухо, не глядя на людей, скомандовал Гамалий и, перекрестившись в последний раз, вскочил в седло.

Через минуту сотня черной лентой вытягивается по дороге. Мы еще долго оборачиваемся назад, к зеленому кусту, под которым едва заметен одинокий холмик.

К вечеру подошли к селу Тулэ. По дороге отпустили наших пленников, не веривших в свое освобождение. Оба курда с благодарностью пытались целовать руки есаула и долго не уходили с дороги, махая нам вслед своими платками.

Не знаю, чем объяснить — вестью ли о нашей стычке с людьми Анатуллы-хана, его ли враждою с тулэнским ханом Джафаром или, быть может, благоприятно изменившейся на фронте обстановкой, не знаю, — но, во всяком случае, в Тулэ нас встретили так, как на Востоке принимают дорогих и любимых гостей. Сам хан Джафар выехал к нам навстречу в сопровождении двух десятков всадников. У самого въезда в его дворец толпилась дворцовая челядь, приветственно кивавшая нам головами. Казаков разместили в большом дворе возле дворца.

Из предосторожности мы не решились расседлывать коней, сняв с них только одни сумы.

Тулэ большое село с невысокой мечетью и зелеными тенистыми садами. Дома крестьян странной, необычной постройки. Они, так же как и везде в Персии, наглухо окружены высокими глиняными стенами, но внутри устроены несколько иначе. Вместо глухих и низких закупоренных коробок, общепринятых на севере Персии, здесь всюду просторные здания с большим количеством окон и дверей. Часто попадаются низенькие веранды. По двору бегают ребятишки, снуют с подоткнутыми чадрами и платьями женщины и квохчут потревоженные куры.

Я сижу на крыше ханского дворца и наблюдаю в бинокль за жизнью села. Крайняя бедность крестьян бросается в глаза. Она еще резче подчеркивает ту роскошь, которая окружает их повелителя — Джафар-хана. Сколько пота, слез и крови должен выжимать он из своих нищих подданных, чтобы драгоценные ковры Хоросана и Исфагани, неподражаемые шелка Шираза покрывали стены и полы его дворца!

Мои размышления прерывает присланный за нами слуга. Прижимая руки к груди и низко кланяясь, он приглашает нас в ханские покои. Спускаемся по крутой лесенке на неширокий балкон и попадаем оттуда в апартаменты хана.

Дворец красноречиво свидетельствует о богатстве владельца. В нем два этажа — с массой комнат, обилием света и воздуха. Дом делится на две половины. В одной из них живут многочисленные жены Джафар-хана, которых нам не дано видеть, другая — предназначена для мужчин. Здесь хан занимается делами, принимает гостей и отдыхает от склок и сплетен энде-руна¹. Двор превращен в цветущий сад. Между старых, тенистых деревьев проложены посыпанные красным толченым кирпичом дорожки. В центре сада — квадратный бассейн, посреди которого бьют высокие сверкающие струи фонтана.

Нас ожидает парадный обед. Но перед тем как идти в столовую, Гамалий отправляется к казакам: посмотреть, хорошо ли их кормят. Сотня расположилась в отведенном ей месте и теперь закусывает. С первого же взгляда есаул успокаивается: хан не поскупился на угощение казаков. Об этом свидетельствуют несколько туш зажаренных баранов, огромные миски плова и крынки с айраном².

— Ну как, ребята, довольны угощением? — спрашивает Гамалий.

Казаки, рты которых набиты пищей, ухмыляются и мычат что-то нечленораздельное. Есаул, довольный, машет рукой и возвращается во дворец.

Моем руки. Слуга-перс льет свежую, холодную воду; рядом с ним — другой, с переброшенными через руку полотенцами. Джафар-хан, веселый черноусый толстяк, любезно улыбается, показывая свои ослепительно белые зубы. На нем хорошо сшитая европейская пара из тонкой чесучи, на груди золотая цепь часов, на голове барашковая персидская шапка. Еду сервируют по тегеранскому обычаю — на низких столиках. Перед нами груда самых разнообразных сластей и миниатюрные, похожие на лампадки стаканчики с крепким душистым чаем. Наш хозяин довольно образованный, во всяком случае внешне он кажется таким. Он курд, женатый на одной из бесчисленных тегеранских принцесс; поэтому он старается здесь, в горах, поддерживать авторитет центрального правительства и даже неофициально пользуется губернаторскими полномочиями, хотя, в сущности говоря, его власть распространяется лишь на собственное племя да еще на два-три соседних села. Джафар-хан выдает себя за англофила, подчеркивая, что ввиду этого он

¹ Женская половина.

² Прохладительный напиток из молока.

«друг русских и их союзник». По его словам, туркам приходится туго, и они будто бы уводят свои войска из Хурем-Абада. Между прочим, он предупреждает нас, что мы находимся в последнем на нашем пути оседлом пункте, а дальше будем встречать лишь кочевые племена и мелкие деревушки.

Он общителен и любезно говорит с нами, расточая улыбки и комплименты, но его маслянистые глаза внимательно щупают каждого из нас. За чаем Химич, по местным понятиям, совершает бестактность: он опорожняет свой крохотный стаканчик буквально одним глотком и с удовольствием принимается за второй, который ему предупредительно наливают. Мы с Гамалием с наслаждением последовали бы его примеру, но надо показать хану, что нам известны порядки и обычаи страны. Поэтому мы медленно тянем, едва прикасаясь губами к стакану, густой, ароматный чай. Наконец чаепитие окончено. Слуги с молниеносной быстротой уносят сладости, к крайнему недовольствию Химича, шепчущего мне на ухо:

— А мясца пожевать дадут?

Но его беспокойство тут же рассеивается. Слуга вносит огромное блюдо с белоснежной рисовой горой. Одновременно появляются большие дымящиеся миски с аппетитно пахнущими хурушами¹. Ложек не подают. «Культурный» хан, связанный близким родством с шахским двором, ест, как и подобает истинному правоверному, пальцами. Он делает широкий приглашающий жест, и мы, следуя его примеру, погружаем наши персты в белоснежный плов, но тут же отдергиваем их.

— Ах, черт побери! — отдергивая руку, кричит Гамалий.

Рис внутри слишком горяч, и его следует брать только с поверхности.

Хан весело и добродушно смеется над нашим злоключением. Мы дуем на обожженные пальцы; но рис так аппетитно выглядит, а хуруши столь заманчиво пахнут, что, забыв об ожоге, мы принимаемся за еду.

Видимо, хан хочет щегольнуть роскошью своего стола. Какое обилие блюд, соусов, закусок! Тут и жареная особенным образом курица, и фазан, из которого заранее удалили кости, и полбока розового, подрумяненного барашка, и мелко изрубленные, плавающие в горячем растопленном масле цыплята. После стольких дней сухомятки мы добросовестно оказываем честь тонкой кулинарии хана, не заставляя слишком просить себя.

¹ Приправами.

Но и наш возбужденный длительным путешествием аппетит имеет свои границы. Насытившись, я с сожалением гляжу на еще нетронутые закуски: сухую вяленую рыбу, горки свежего редиса, вареные бобы. Мои компаньоны, по-видимому, испытывают то же.

— Господа, предупреждаю,— говорит Аветис Аршакович,— за этими блюдами последуют и другие.

Мы ждем. Даже прожорливый Химич перестал жевать и запивает съеденное стаканом холодной воды. Стол уставлен большими гранеными стаканами с резьбой и рисунками. Они наполнены ледяной водой, смешанной со сладким лимонным и розовым соком. В них плавают кусочки апельсинов и яблок и маленькие осколки льда.

— Это для того, чтобы аппетит не убавлялся от еды,— смеется Аветис.

Пьем. Разглядывая свой стакан, я замечаю на нем марку: «Нижний Новгород. Стекольный завод А. С. Трофимова». Видя мое удивление, Джафар-хан улыбается, кивает головой и говорит на ломаном русском языке:

— Русски карошо.

В дверях снова показываются слуги с глубокими, объемистыми мисками в руках. На этот раз нам дают ложки. Слуги разливают по тарелкам густой зеленый пряный суп. Это даже не столько суп, сколько жидкая каша; в ней плавают бобы, зеленые разваренные травы, кислые плоды алычи и что-то еще, чего я не могу разобрать. Пробую. Восхитительно! Впечатление такое, будто я еще ничего не ел. Ем ложку за ложкой очаровательный «пити», как его называет Аветис. Наконец чувствую, что окончательно сыт. То же самое написано и на лицах моих соседей. У Гамалия даже проступил пот на лице.

На сцену появляется кофе и новые груды сладостей. Тут и вяленые апельсины, и белые, осыпанные сахаром миндальные гязи¹, и рахат-лукум, и финики, и халва, и ряд лакомств, которых я еще никогда не видел в Персии. Гамалий забыл свой шоколад и пробует все эти деликатесы. Обед заканчивается мороженым.

Хозяин посматривает на нас с гордостью, как бы желая сказать: «Где еще вы найдете подобное щедрое гостеприимство и такого изобретательного повара!» Его тщеславие явно удовлетворено.

¹ Восточная сладость.

Дружеский обед закончен, за ним последует официальная сторона дела.

Джафар-хан закуривает кальян, делает глубокую затяжку и протягивает янтарный мундштук на длинной гибкой трубке Гамалию, как самому почетному гостю. Обычай требует, чтобы один и тот же кальян обошел весь круг. Когда очередь доходит до меня, я храбро втягиваю в себя струю крепкого, булькающего в воде дыма. Воспоминание о том, что мундштук побывал в жирных губах Джафар-хана, доставляет мне мало приятного, но что поделаешь. Мы лежим на ковре, подложив под головы подушки. Слуги ушли. Сейчас начнется деловая часть.

Гамалий благодарит за приют и гостеприимство и, вынимая письмо Робертса, передает его Джафар-хану. Тот прижимает письмо к груди, делает вид, что целует его, а затем принимается высокопарно распространяться о своей любви к русским. По его словам, он ненавидит немцев, недолюбливает англичан, но всегда питал страсть к России. В доказательство своих симпатий вытягивает из кармана серебряную медаль «За усердие» на аннинской ленте. Оказывается, эта медаль была пожалована ему до нашего отступления, когда наши войска стояли еще в этой части Персии, от Исфагани до Ханакина.

По словам Джафара, турки осведомлены о нашем рейде, но нам в Курдистане ничто не угрожает, так как хан знает много прекрасных, никому неизвестных путей и половина вождей курдских племен приходится ему родственниками.

— Но все это стоит денег. Много денег! — закатывая глаза, вздыхает Джафар.

— Я чувствую, что обед обойдется нам очень дорого, — шепчет мне Зуев.

Джафар внимательно оглядывается, плотно притворяет двери и возвращается к нам. Он открывает стоящий в углу железный ларец, лукаво улыбаясь, извлекает из него бутылку «Мартеля» и осторожно наливает в рюмки.

— Прошу выпить! — говорит он и извиняющимся тоном добавляет: — Не пью в присутствии слуг. Тут все дикари. Потеряют уважение, пойдут разговоры. У нас, в горах, на этот счет строго. Ваше здоровье! — неожиданно заканчивает он и ловко опрокидывает себе в рот содержимое рюмки.

Мы не заставляем себя просить. Химич, выразивший было желание пойти к сотне, теперь забывает о ней и внимательно следит за бутылкой. Коньяк в самом деле приятный, густой и выдержанный. Мы выпиваем еще по рюмке, затем хозяин, вос-

пользовавшись каким-то шумом на лестнице, снова быстро прячет бутылку в ларец.

Коньяк развязывает язык Джафар-хану. Ему наскучило вести церемонную, окольную беседу, и он сразу приступает к делу, заявив без обиняков, что может гарантировать нашу безопасность и благополучный проход через Курдистан лишь в том случае, если получит от нас пятьдесят тысяч рублей золотом.

— Поймите,— убеждает он,— ведь дело идет, по существу, о незначительной сумме. Вся она уйдет на подкуп лурских ханов и пуштекского вали¹.— Ему самому, Джафар-хану, ровно ничего из нее не останется. Да ему, собственно говоря, ничего и не нужно. Он действует не из корыстных побуждений, а как союзник Англии и большой друг России. Если бы не жадность других ханов, он не позволил бы дорогим гостям потратить и тумана.

Торг затягивается. Гамалий не вмешивается в него, предоставив все дело дипломатическому искусству Аветиса Аршаковича. Ни Джеребьянц, ни наш хозяин не торопятся, хотя и вкладывают в спор всю восточную страстность, то есть закатывают глаза, в нужных местах бьют себя в грудь кулаками, произносят цветистые клятвы и часто призывают Бога в свидетели своей правоты. Гамалий лежит на подушках, и в его умных глазах играет насмешливый огонек. От нечего делать он лакомится сладостями, похрустывая засахаренным миндалем. Химич и Зуев долго безуспешно сдерживают зевоту и наконец, не выдержав скуки, отправляются к казакам. Ночь уже спускается над ханским дворцом. На селе один за другим появляются огоньки.

Слуга хана вносит зажженные свечи в бокаловидных подсвечниках, именуемых лампионами, а торг так и не приближается к желанному концу. В дверь просовывается голова Пузанкова.

— Вашбродь,— делая таинственные знаки, зовет он.

— В чем дело?

— Идите сюды.

Я подхожу.

— Купаться идить. Хлопци баню растопылы.

— Какую баню?

— Да таку, обнаковенну, де мыются.

После обильного, сытного обеда, когда даже двигаться лень, мысль о бане кажется чудовищной.

¹ Правитель провинции, губернатор.

Я отрицательно мотаю головой, но Пузанков не отстаёт:

— Идти в баню. Як не совистно, вашбродь, дви недели белье не меняли. Вошь на вас так табуном и ходить.

Я сконфужен:

— Как так «вошь»?

— Та так. Хочь скребныщей сгрибай.

Хотя в этих словах заключается обидное преувеличение, но категорический тон Пузанкова обезоруживает меня. Собираюсь идти и сообщаю об этом Гамалию.

— Баня? От добре! Спасибочки вам, хлопцы. А ну, Пузанков, скажи Горохову, щоб приготовив мени белье. Зараз прийдем.

Он вскакивает и говорит Аветису:

— Ну, вы тут продолжайте свои дебаты, думаю, что и к нашему приходу не договоритесь. Не забудьте только одно: деньги будут выплачены нашим, российским золотом, до последней монеты русским рублем. Так и скажите ему.

Аветис Аршакович удивленно смотрит на есаула и, не понимая, в чем дело, говорит:

— Да это ж ему все равно каким. Он любым возьмет. Лишь бы это было золото.

— Ему — да, но нам — нет, — отрезает Гамалий.

Мы уходим, оставляя двоих восточных людей вести наедине деловые переговоры.

Баня восхитительна. Правда, до настоящей бани ей очень далеко. Это просто-напросто полутемный сарай с покатым полом и большой ямой посредине, куда стекает вода. Казаки усердно моются, подливая в колоду горячей воды. Из-за пара ничего нельзя разглядеть, и мы поминутно натываемся на голые, распаренные, красные тела. Шум и веселые возгласы носят по бане. Правда, в условиях войны, находясь в тылу неприятеля, по уставу как будто бы не полагается позволять себе такое удовольствие. Но если б нас настиг противник, все равно нам не выбраться из Тулы, а принимать бой, сидя за крепкими стенами ханского дворца, можно и полуголыми. На всякий случай дежурная полусотня стоит под седлом, в полной боевой готовности.

— А ну, лий ще! — басит кто-то сбоку.

— Мыль крепче, не жалея, воробей, казенного мыла, — слышу я довольный, благодушный голос Вострикова.

Кто-то нарвал веток, связал из них веник и хлещет себя по грешному телу. Его примеру следуют остальные. Помывшись и переменяв белье, мы снова поднимаемся в покои хана. Пузанков удовлетворенным голосом говорит нам вслед:

— Это дело! А то разве можно без бани ахфицеру.

Предположение Гамалия о том, что мы застанем по возвращении «высокие договаривающиеся стороны» в прежнем положении, не оправдалось.

Джафар в изнеможении лежит, откинувшись на мутаке¹. Его лицо измучено, глаза выражают утомление и апатию. Аветис вскакивает навстречу нам и говорит:

— А теперь пойду купаться и я.— И, понижая голос, шепчет: — Сошлись на пятнадцати тысячах.

Мы улыбаемся. Аветис стрелой сбегает вниз. Джафар провожает его долгим, малодружелюбным взглядом и ворчливо говорит:

— Ну и педерсук-те² ж этот армянин. Надо еще выпить коньяку.

Он лезет в свой ларец и достает драгоценную бутылку.

Доканчиваем ее. На лице Гамалия блаженство.

— Теперь бы чайку,— тянет он.

Через полчаса появляются Химич и Зуев. Все в порядке. Казаки сыты, вымылись, отдыхают. У коней достаточно ячменя и сена, караулы и посты выставлены.

Поздно вечером хозяин угощает нас снова. Аветис слегка подтрунивает над Джафар-ханом. Тот добродушно смеется, называя нашего переводчика векильбаши³.

Наконец ложимся спать. В отведенной нам комнате горами разостланы перины и подушки, в них мягко тонут наши отдохнувшие тела.

Сегодня дневка. Дан целый день на отдых и приведение сотни в порядок. С самого утра идет чистка оружия и уборка коней. Кони, впервые за наш рейд расседланные, выводятся и осматриваются Гамалием и ветеринарным фельдшером. Большинство лошадей сильно спало с тела, у иных на холках огромные, величиной с кулак, желваки, некоторые понабили спины, многие изрезали ноги об острые камни ущелий. После проводки кузнецы осматривают состояниековки. Большинству коней

¹ Диванная подушка в форме валика.

² Сын сожженного отца (*перс. брань*).

³ Глава всех чиновников (*перс.*).

необходимо подтянуть подковы, а некоторых и вовсе перековать. Наши раненные чувствуют себя лучше. Скиба сидит на солнышке, жмурясь, как кот, под горячими лучами. По всему двору снуют казаки. Каждому находится дело. Кто тачает сапоги, кто зашивает прорвавшуюся седловку, кто чистит оружие. Впечатление такое, будто мы не в тылу неприятеля, а у себя дома, где-либо в далеком Майкопе или Усть-Лабе.

С утра к нашему привалу потянулись вереницы крестьян с продуктами. Несут кур, яйца, хлеб, фрукты. Все это здесь стоит гроши. Население радо случаю сбыть свои продукты, так как вблизи нет даже мелких рынков. Во избежание всяких недоразумений и жалоб жителей Гамалий приказывает взводным выдавать продавцам расписки с перечнем всего взятого у них. Должность казначея выполняю я. Около меня целая груда бумажек, на которых вкривь и вкось чудовищными каракулями нацарапано: «А ще взято тры батману хлиба, та чотыри десятка яець, та три пуда ячменя, та саману тоже тры. Приказный *Рубаник*». Попадается и такая: «Узято сена десять пуд и саману пять. Уплатыть девять „собак“ за усе». «Собака» — это двухкранник (сорок копеек) с изображением персидского льва, которого наши казаки бесцеремонно окрестили «собакой».

Кипа расписок все растет. Я устаю расплачиваться по ним.

— А не пора ли нам прекратить этот базар? — обращаюсь я к есаулу. — Тут уже стали брать что нужно и что не нужно, сколько бы чего ни принесли.

— Нет, наоборот, этого еще мало. Пусть несут больше. Надо, чтобы слух о щедрости русских обогнал нас. Это сейчас нам необходимее всего.

Моя «касса» продолжает работать. Наконец оплачен последний счет. С облегчением встаю.

У Джафар-хана уже собрались созванные им главари и старшины родов кельхорского племени. С самого утра во дворце идут совещания, в которых деятельное и горячее участие принимает Аветис Аршакович. Телохранители, сопровождающие курдских вождей, разбрелись по саду. Некоторые из них стоят кучками около нас и с явным недружелюбием рассматривают казаков. Поодаль чернеют укутанные в чадры женские фигуры. Видимо, им тоже любопытно взглянуть на диковинных чужестранцев. К нам спешит казак.

— Господин переводчик просят командира и вас наверх.

Это означает, что переговоры в основном завершены, условия соглашения установлены и пятнадцать тысяч поделены

между собравшимися вождями. Своим присутствием мы должны закрепить состоявшуюся сделку.

Поднимаемся во дворец. На полу приемной комнаты на мягких коврах и подушках расположились в живописных позах десятка два курдов самого причудливого обличия. Среди них выделяются своим величественным видом два седобородых патриарха, поместившиеся на почетных местах, рядом с хозяином. На их головах — высокие черные войлочные тиары, обтянутые белыми платками. Остальные — смуглые крепкие ребята с суровыми, закаленными лицами, одетые в длиннополые кафтаны и подпоясанные кушаками, за которые заткнуты кривые ножи и короткие глиняные чубуки. Хотя они и находятся в гостях у важного лица, почти губернатора этой провинции, их длинноствольные «лебели» и вложенные в тяжелые деревянные кобуры маузеры покоятся на их подогнутых коленях. Ведут разговор исключительно старики, остальные лишь согласно кивают головами и время от времени кратко поддакивают им. У стены, застывши столбами, вытянулись два страхолюдных гиганта-телохранителя. Аветис Аршакович с видом индийского истукана важно восседает среди этого синклита. Весь его облик говорит о сверхчеловеческом достоинстве и необычайном величии. Изредка он удостаивает говорящих взглядом и скупое бросает какие-то слова. К нему внимательно прислушиваются, несомненно принимая его за лицо, облеченное высокими дипломатическими полномочиями. При нашем появлении все отвешивают глубокий поклон, сохраняя при этом бесстрастные лица. Джафар-хан поднимается и сажает нас рядом со стариками. Кальян вновь ходит по кругу. Некоторые из присутствующих курят толстые трубки на длинных мундштуках с необычайно крепким табаком.

Аветис Аршакович вкратце ставит нас в известность о результатах совещания. Мы будем проведены через всю Курдскую область и выведены до равнины Гиляна. Вожди племен дадут нам проводников и по несколько всадников, которые поедут впереди сотни, чтобы предупредить население поселков и кочевые курдские племена о состоявшемся соглашении. Кроме того, за отдельную плату нас будут снабжать на пути нашего следования фуражом для коней и питанием для людей.

Карандаш Аветиса Аршаковича быстро скользит справа налево по листку бумаги, оставляя за собою затейливую вязь арабских букв. Затем наш «полномочный представитель» громко читает свое произведение. Это текст «мирного договора»

между нами и собравшимися здесь вождями курдских племен. В нем нет недостатка в ссылках на Аллаха, Коран и местных мусульманских святых. Составлен он по всем канонам восточной цветистости, вызывающей довольное поцокивание курдов.

Едва заканчивается чтение, как Джафар-хан первый подписывает «торжественный пакт» и тщательно посыпает свежую подпись из медной песочницы. Вслед за ним медленно царапает несколько неразборчивых букв один из седовласых старцев. Остальные вожди, сопя и вздыхая, лезут в карманы широченных штанов и извлекают из них кумачовые платки, в уголках которых завязаны их личные мухуры¹. Облизнув печатки, они крепко тискают ими договор и, облегченно вздохнув, снова увязывают их в платки.

Я всматриваюсь в лица этих чужих нам людей, в руки которых мы так доверчиво отдаемся. Единственной гарантией нашей безопасности служит вот эта жалкая, ничего не значащая бумага. Мне не очень верится в рыцарскую честность и святость обычаев гостеприимства этих никогда не расстающихся со своим оружием детей гор. Мы покупаем свою жизнь ценой золота, до которого так жадны эти вожди. Но что будет, если кто-нибудь заплатит им дороже? В острых, пронизательных глазах Гамалия читаю ту же мысль. Но по его взгляду мне без слов ясно ее продолжение: «Договор договором, а сто смелых, хорошо вооруженных казаков тоже что-нибудь да значат».

«Дипломатическая» церемония окончена; один из экземпляров договора — в кармане Гамалия; деньги поделены и исчезли в кошельках наших «друзей». Завтра можно пускаться в дальнейший путь. Сегодня же предстоит до конца соблюсти «священный обычай», требующий прощального пиршества в ознаменование удачной сделки.

Садимся обедать. На этот раз, в силу ли местного этикета или Джафар-хан хотел этим польстить вождям, но весь обед состоит из курдских блюд. Как и вчера, слуги сначала вносят маленькие стаканчики с чаем, после чего на полу, на разостланной скатерти, появляется целиком зажаренный барашек. Его приносят на огромном шесте, который за концы держат двое слуг. Каждый из нас отрезает от наиболее желанного места какой ему вздумается величины кусок и кладет его на свою тарелку. На полу стоят чашечки с разными соусами, в которые обмакиваются дымящиеся куски. Работаем исключительно пальца-

¹ Печатки.

ми и ножами: ложек и вилок не полагается. Белой грудой сверкает рис, облитый яичным желтком и маслом, и лежит похожий на головные платки лаваш¹. Гости едят жадно, разрывая зубами и пальцами мясо. Соус стекает с их жирных щек. За барашком вносят мелко нарубленного, залитого ореховым и лучным соусами изжаренного джейрана. Слуги беспрестанно наливают стаканы холодного аб-ду, удивительно приятного, освежающего напитка. Наконец все насыщаются и сейчас же, едва успев обтереть сальные руки, стремительно вскочив, начинают прощаться с хозяином. Оказывается, таков обычай: дальше оставаться в гостях неучтиво, так как у хозяина может возникнуть сомнение в том, сыты ли гости.

Оба старика, потрясая бородами, снова уверяют нас в своей дружбе и, пожелав счастливого и благополучного проезда, уходят. Почтительно окружившие их молодые курды доводят патриархов до коней и осторожно помогают им взобраться в седла. Конвойные уже на конях. И спустя минуту наши новые союзники рысью затрусили по дороге. За ними разъехались и другие.

— Поздравляю, поздравляю! Теперь можете ехать в полной безопасности вплоть до самого Миандуба,— пожимая нам руки, говорит Джафар-хан.— Трудно было, очень трудно. Однако уломал стариков.

Он оглядывается и, не найдя глазами Аветиса, добавляет:

— У-ух! Ну и педерсух-те ваш армянин. И где только вы достали такого? Всех в пот вогнал, а не прибавил ни одного шая².

Впереди едут два стройных смуглых курда с длинными черными усами. Их замотанные платками высокие войлочные шапки — тиары — высятся над низкими папахами казаков.

— Ровно монахи в клобуках,— говорит Карпенко, успевший подружиться с нашими проводниками.

Переход совершается спокойно и без приключений. Время от времени отдыхаем, ведем в поводу коней и снова качаемся в седлах. Несмотря на наличие передового курдского разъезда, Гамалий ни на секунду не ослабляет бдительность. Все так же движутся по сторонам наши дозоры, и так же внимательно просматривает путь идущий впереди нас взвод Зуева.

¹ Тонкий хлеб, раскатанный, как большой блин, употребляется в Персии и Турции.

² Копейки.

— Кашу маслом не испортишь,— говорит Гамалий.

Перед уходом из Тулэ мы впервые раздали казакам по золотой пятирублевке в счет идущего им содержания. После хорошего отдыха и сытного угощения хана эта получка вызвала радостное возбуждение в сотне. Сейчас, когда казаки убедились, что живущие в этих горах курды если и не союзники, то, во всяком случае, и не враги нам, они стали бодрее. На их лицах выражается оживление, чаще звенит смех. Не умолкая трещит воспрянувший духом Востриков. Об убитых и погребенных товарищах, как будто по общему уговору, никто не вспоминает. Никому не хочется омрачать хорошего настроения.

К вечеру доходим до кочевья Сунгаид. Здесь все совершенно ново и не похоже на то, что осталось позади. Горы снижаются, гряда темных хребтов остается в стороне. Вокруг зеленые холмы, покрытые высокой, сочной, шелковистой травой. Наши кони блаженствуют, поминутно дергая повод, чтобы щипать на ходу вкусные стебли. Под одним из холмов раскинулось небольшое кочевье, шатров на двадцать пять. Шатры имеют куполообразную форму и сделаны из черного войлока, обтянутого широкими сыромятными ремнями. Вход в них невелик и завешан пологом. Среди кочевья снуют полуголые ребятишки и носятся с отчаянным лаем псы. Из шатров выглядывают встревоженные женщины. Вдали на яркой изумрудной траве сплошной массой колеблются серые волны. Это пасутся огромные отары овец. Одетые в черное пастухи кажутся камнями среди пенистого прибоя этого живого моря. Пытаюсь приблизительно подсчитать количество животных, но быстро отказываюсь от этой невыполнимой затеи. Их, вероятно, пять, а может быть, и десять тысяч голов. Серый колышущийся поток скрывается за холмом. Кто знает, сколько таких же больших стад тонкорунных овец разбросано среди этих холмов.

Подъезжаем к кочевью. У шатров уже сидят наши передовые, здесь же расположился и курдский разъезд. Они подкрепляются горячими, испеченными в золе лепешками, запивая этот незатейливый обед густым козьим молоком. Нас встречают старики. Молодежь почтительно помогает нам сойти с коней. Особенное внимание оказывают Химичу, принимая его за высокое начальство, вероятно, потому, что он украшен густыми, лихо вздернутыми вверх усами, а также единственный из нас, не сменивший серебряных погонов на скромные защитные полоски. Поглядеть на невиданных пришельцев собирается большая толпа любопытных.

С интересом рассматриваю кочевников. Высокие, стройные люди с крепкими мышцами и приветливым взглядом смуглых открытых лиц. Женщины одеты в темные платья до пят и носят на голове большие черные платки. Они не закрывают лица чадру, как персиянки. Видимо, строгие обычаи ислама не имеют силы здесь, в горах. В различных областях быта курдская женщина пользуется большим влиянием, но фактически это раба, ибо на нее возложено бремя не только домашнего хозяйства, но и всех работ. Отвлеченные непрерывными набегами и службой у феодалов, мужчины почти не занимаются ни земледелием, ни уходом за скотом.

Меня трогает искреннее радушие и неподдельная сердечность всех этих простых курдов, вряд ли знавших еще вчера о нашем существовании. Из шатров тянутся подростки. В руках у них небольшие козьи бурдюки, наполненные холодным кисловатым молоком. Перед нами вырастают аккуратно сложенные горки пресных мучных лепешек и кусков холодной баранины.

Кони расседланы, наблюдение выставлено, и мы с наслаждением приступаем к еде. Нас окружают довольные, смеющиеся лица. Хозяевам по душе наш волчий аппетит. На наше приглашение присесть и закусить с нами получаем вежливый, но твердый отказ. Бог их знает, что это — особые ли правила местного этикета или боязнь опоганить себя едой с гяурами.

Пьем туземный чай. Он крепок, вкусен и настолько душист, что его терпкий запах долго еще ощущается в шатре. Пузанков приносит сахар и шоколад. Гамалий жмурится от блаженства, откусывая от огромной шоколадной плитки.

Нас окружает туча довольно великовозрастных беспитанных мальчишек, единственной одеждой которых служат лохмотья отцовских рубашек. Засунув пальцы в рот, они с удивлением и благоговейным восторгом наблюдают за процессом нашего насыщения. Я отламываю кусок шоколада и протягиваю его. Дети шарахаются к выходу. Мы смеемся. Тогда один из стариков говорит что-то, и маленький, неимоверно грязный оборвыш с лукаво искрящимися черными глазенками быстро выхватывает у меня шоколад. За ним следуют другие. Я раздаю им всю плитку и сую в их грязные, вероятно, от рождения немытые руки куски сахару. Малыши мнут сласти, шоколад липнет к их ладоням, и сахар мгновенно буреет, принимая окраску сжимающих его пальцев.

— Да они, кажись, и сахар-то в жизни не бачилы, — неодобрительно косится на них Пузанков.

В самом деле маленькие курды, как видно, вовсе не ведают прелести полученных ими гостинцев. Аветис уговаривает их попробовать сладости. Старики смеются, молодежь и женщины галдят. Наконец один из мальчуганов набирается храбрости и засовывает кусок сахара в рот. Секунду он беспомощно глядит на нас, по его губам текут обильные слюни. Затем лицо озаряется сиянием, глаза смеются, и звонкий хруст оглашает кош¹. Мы хохочем. Старики также довольны эффектом. Они одобрительно подталкивают друг друга и, перебрасываясь словами, то и дело кивают на замирающих от счастья малышей.

— Орда, прости господи, — разводит руками Пузанков. — От уж Азия. Сахару простого и то не знают.

Одна из женщин, вероятно мать черноглазого оборвыша, прельщенная радостным визгом детей, быстро нагибается, вырывает из рук сына измызганный кусок сахара и сейчас же, устыдившись сурового окрика стариков, бросается вон из шатра. Остальные женщины неодобрительными взглядами провожают ее и недовольно покачивают головами.

— Вы не поверите, господа, — говорит Аветис, — что из присутствующих здесь курдов, может быть, только двое или трое когда-либо ели сахар, о шоколаде же никто из них никакого понятия не имеет.

Бедность вокруг ужасающая. Самая настоящая, неприкрашенная нищета. В шатрах грязно, накурено. По углам валяются узлы небрежно свернутого войлока. Это постели, на которых спят обитатели шатров. Пахнет жженым кизяком и овечьим поместом. И это хозяева огромных отар, столь поразивших меня. Но, как оказывается, эти отары принадлежат лишь нескольким богатым старшинам, остальные же кочевники являются, по существу, лишь их полукрепостными пастухами.

Я решаюсь обойти шатры, чтобы поближе ознакомиться с бытом и правами кочевых курдов. Двое симпатичных молодцов сопровождают меня. Собаки, успокоившиеся поначалу и улегшиеся по сторонам шатров, стремительно бросаются с мест и оглушительно лают.

— Боро, боро! — замахивается на них огромной пастушьей палкой один из моих провожатых.

Псы умолкают, отбегают в сторону и, недовольно ворча, косым взглядом неотступно следят за мной.

Мы идем по кочевью. Синеватый, едкий дым курится перед каждым шатром. Медленно и незаметно разгораются сухие

¹ Шатер.

кизяки, ветерок раздувает пламя и относит в сторону вьющийся дымок. На огне, на трехногих железных каганцах, варится пища. Смуглые быстроглазые женщины провожают нас долгими взглядами.

На пути натыкаемся на картину: местный коновал, он же и пастух, лечит больных овец. Доморощенный ветеринар сидит на корточках, окруженный десятками понурых, утомленных и жалобно bleющих овец. Вокруг него лежит несколько ножей, шильев и клещей самой разнообразной формы и величины. По своему виду все эти инструменты очень похожи на орудия пытки. Они грязны, покрыты сгустками крови и налипшей овечьей шерсти. Коновал добродушно скалит зубы и приглашает поглядеть на его искусство. Я останавливаюсь возле него. Мои спутники перебрасываются с ним словечками, и все трое добродушно и радостно ржут. Польщенный моим вниманием, целитель овец хватает за ногу наиболее крупный экземпляр из своих пациентов и за курдюк притягивает его к себе.

— Ппа-па-ппа! — говорит он, похлопывая ладонью по мягкому волнистому курдюку.

Он откидывает голову овцы назад, широко раскрывает ей рот и долго смотрит в него. Овца жалобно блеет и рвется из его рук. Так продолжается минуты две. Затем он валит овцу, растягивает ее на специально сделанных для этого козлах и начинает стричь. В его руках огромные ржавые ножницы, они издают зловещий скрип и издали похожи на пару огромных ножей. Он состригает со спины овцы несколько клоков шерсти.

Под срезанными клочьями свалявшейся шерсти обнажается бледная пупырчатая кожа спины. Нашим взорам представляются отвратительные язвы с кишачими и копошащимися в них белыми пухлыми червяками. Нестерпимый гнилостный запах распространяется вокруг. Я отворачиваюсь, зажимая нос. Коновал смеется и запускает пальцы в язвы, несколько секунд копается в них, затем извлекает оттуда и бросает на землю кучу барахтающихся и извивающихся червей. Он повторяет эту операцию два-три раза. Пальцы его осклизли от крови и гноя. Несчастливая овца жалобно блеет, поводя своими грустными, страдающими глазами. Наконец, когда, по мнению пастуха, болячки очищены, он заливает их нефтью из стоящей рядом грязной склянки.

— Якши? — спрашивает он и, довольный собою, смеется.

Идем дальше. Возле одного из шатров потрошат баранов. Вокруг толпятся голые мальчишки и лижущие стекающую

кровь псы. И те и другие жадно кидаются на выбрасываемые кости, оглашая воздух визгом и рычанием. Груда розовых освеженных бараньих туш висится на траве аккуратной горкой. Эта гекатомба предназначена для нас, чтобы достойно накормить посетившую кочевье казачью сотню.

Мои внушительные очки привлекают внимание старух. Они перешептываются и провожают меня почтительными взглядами.

— Вас принимают за врача, — разъясняет мое недоумение Аветис Аршакович. — Здесь, на Востоке, каждый европеец, особенно если он носит очки, должен быть, по мнению простых людей, хакимом (доктором).

И действительно, в одном из уголков кочевья мы видим, вероятно, заранее собранных больных, преимущественно старух и детей. У них жалкий, изможденный вид. Прибегая к выразительным жестам, они упрашивают меня полечить их. Я не знаю, как выйти из столь затруднительного положения. К счастью, меня выручает незаменимый Аветис. Он бросает моим неожиданным пациентам несколько слов. Толпа стихает, успокаивается и, благодарно кланяясь, расходится.

— Что вы им сказали?

— Чтобы они пришли попозже к нашей стоянке, и тогда вы попользуете их.

— Позвольте! Вы смеетесь, что ли?

— Нисколько. Неудобно было бы поступить иначе. Они так внимательны и предупредительны к нам, что мы отплатили бы черной неблагодарностью, отказав им в их просьбе.

— Но я же не смыслю ни аза в медицине.

— Лечить их, понятно, будете не вы, а сотенный фельдшер. Вам придется только присутствовать при том, как он смажет им чем-нибудь язвы и выдаст какие-либо порошки. После этого они уйдут, благословляя вас.

— Но ведь это, того, похоже на шарлатанство.

— Нисколько. Во-первых, наш фельдшер несомненно лечит лучше, чем их знахари, а во-вторых, друг мой, святая ложь предпочтительнее честной обиды.

Я заглядываю внутрь шатров. Их убранство крайне убого и однообразно. Тот же войлок, служащий подстилкой и одеялом, те же подушки и та же невероятная грязь. По стенам две-три полки с деревянной и глиняной посудой, на земляном полу медная утварь, кое-какой скарб. Ни малейшего намека на самую примитивную мебель, без которой не обходится даже наи-

более бедная русская изба. Питаются кочевники главным образом молочными продуктами и изредка мясом. Картофеля нет и в помине, так же как и большинства известных нам овощей. Нет и обыкновенной поваренной соли, зато в шатрах лежат глыбы каменной соли, которую в виде лакомства дают лизать младенцам и ягнятам. Между прочим, к моему удивлению, я не вижу ни одного муллы, хотя курды ежеминутно пересыпают свой разговор словами «алла» и «худа»¹. В шатрах не видно ни Коранов, ни четок.

Мое внимание привлекает стоящий в одном из шатров треножник, на котором покоится чугунный котел. Тут же висит заржавленная цепь, одним концом лежащая в огне, а другим надетая на рога джейрана. Лежащие кругом серые камни испещрены какими-то рисунками, значками и буквами.

— Это нечто среднее между жертвенником и алтарем,— поясняет Аветис.— Ведь эти кочевники, хотя и исповедуют формально ислам, далеко не порвали с язычеством и приносят жертвы неведомым богам.

Я с интересом обхожу и оглядываю жертвенник. Действительно, внизу между камнями лежит груда полубожженных бараньих рогов.

— А кто же живет здесь?

— Никто. Этот шатер содержится коллективно, всей общиной, и посещается только в торжественные дни, когда старейшины рода режут здесь, на этих камнях, жертвенную баранту.

Я начинаю сожалеть о том, что у меня нет с собою фотоаппарата.

День медленно угасает. Пышным пунцовым, лиловым, фиолетовым пожаром догорают лучи заходящего солнца. От ближних гор тянутся длинные серо-пепельные тени. Тонут в седой, синеватой мгле зеленые холмы. По кочевью ярче горят костры, бегают и искрятся веселые язычки пламени, облизывая сухой, устоявшийся кизяк. Вокруг костров видны силуэты людей. Дым густой пеленой низко стелется над ними и ползет по долине, уносимый легким ветерком. Слышны смех и веселые остроты. Отдохнувшие кони поднимают возню, раздается сердитое ржание.

— Н-но, ты, черт! Пшел назад! — И смачная семиэтажная брань заглушает звучный удар ремня по спине расходившегося жеребца.

¹ Бог.

Лица казаков полуосвещены отблеском огня. Дым и ночной мрак мешают мне узнать людей. У одного из костров слышны звучный смех и веселые реплики.

Подхожу к сидящим вокруг него людям и присаживаюсь на груды небрежно брошенных мешков с ячменем. Кто-то из казаков узнает меня, но я останавливаю его знаками. Многие не замечают меня, увлеченные веселым рассказом Вострикова:

— ...И стоять, хлопцы мои, це саме укрепление миж двух скал. Спереди — вода, сзади — вода, налево — бездонна ущиль, направо — узенька дорожка. И сидять, значит, в ций ущильи четыре наши хлопчика и боя дожидаются. Ждут-пождут... А потом из-за скал полизла на них Азия. Тьма тьмой, гора горой. Аж вся долина скризь почорнила от них. И в атаку! Ну, наши, конечно, тоже не сплять. Похватали шашки — и давай!..

— Ишь ты, ерой! — несется из темноты чей-то иронический, но довольный голос.

— ...Ну, бьются день, бьются другой, бьются третий...

— Хо-хо-хо! Настоящи ерои! Прямо Еруслан-богатыри! — реагируют слушатели.

— ...Былысь, рубалысь, поки не зривнялысь: наших четверо и тих тоже четверо. Тут наши як разозлятся! Рученьки втомылысь, намахамши-то шашкой, ноженьки ослабили. «Що ж, говорят, братцы, скилько нам воевать-то? Третий день их рубаем, головы, як кочаны, валются, а тилько тепер мы з ними поривнялысь. Давай, говорят, замиряться». — «Ладно. Замиряться так замиряться, нам все одиначе». Повылазылы хлопчики з-пид камнив, бижать до орды. Смотрят, а ти им назустричь. «Эй, кунак, кричат, хватит! Не рубай башка, мы до тебе идем». — «Как до нас? Мы до вас, а вы до нас?» — «Да, кунак, нам драться надоело, до вас итти охота».

Що тут поделаешь? Стоять воны отак одын против другого и торгуются, ни як не сговорятся. Постояли, постояли, потужили, потужили та й разошлись. От сказка вся! — неожиданно заканчивает Востриков.

— Смотри, Азия, а тоже восчувствовать умеет.

— А що ж? Разве воны не таки люды? Он дывысь на цых. Ежели с ным по-хорошему, так и воны, брат, не хуже других.

Я встаю и потихоньку отхожу в сторону.

— Та люды таки ж, як и мы, грешни, — доносится до меня.

Командирский состав, как и казаки, ночует под открытым небом. Пузанков приготовил мне постель из свежей и душистой травы. Рядом лежат Гамалий и оба прапора. Химич, возвы-

шаясь на своем ложе, напоминает мне надгробный памятник. Спать никому не хочется. От нечего делать мы разговариваем. Гамалий вспоминает японскую кампанию и мищенковский набег на Инкоу:

— Да, други ситцевые, вот это было дело так дело. Вспомнишь, так стыд берет. Не набег кавалерийский, а черепаший наполз. Вышли мы из Сын-чен-Дзы весело и бодро. Кони сытые, люди тоже. Пошли, а в пути узнаем: того нет, этого не захватили. Дальше — больше. Население нас встречает мрачно, села пустые, людей нет, скота тоже, продовольствие исчезло. Что за черт? Оказывается, за сто верст впереди все отлично знают, кто мы и куда держим путь. По дороге наскочили на кого-то. Впереди стреляют, какие-то солдаты рассыпаются в цепь. Ну, мы давай отвечать, даже пушки выкатили вперед. Целый день стреляли — бух! бух! — наконец сбили противника, заняли село и переправу. Оказывается, всего-навсего рота японских ополченцев на целый день задержала весь отряд. А дальше и того хуже пошло. В день стали делать по пятнадцать — двадцать верст. Видите ли, сами обхода боялись. А однажды и назад сорок верст скакали. Так и кончился наш набег конфузом. — Есаул помолчал. — А какие злоупотребления творились, не дай-то боже. Я тогда служил вольноопределяющимся во второй сотне сводного полка. Командиром нашим был некто Товстунов, подъесаул, прямо редкая личность — негодяй, каких мало. Пьяница, трус, мародер! Люди его ненавидели. Ненавидели и боялись. Всю сотню, подлец, обирал дочиста, фуража коням не давал; что раздобудем, тем и кормили их. А счета на фураж и довольствие аккуратно выписывались. Так и лютовал всю войну. Спасибо, революция началась. Отлились ему казачьих слезы.

— А что? — поворачиваясь на своем ложе, спрашивает с интересом Химич.

— Казаки его порубили, в клочья разнесли на станции Лян, а потом бросили под поезд.

— И ничего?

— Ничего! Все знали, и офицеры знали, но делали вид, будто бы он сам в пьяном виде под колеса свалился. Ну, батенька, время-то было такое, что впору каждому о себе заботиться, а не о других думать. Да-а. Так вот в этот самый-то наполз, как вечером сотне устраивать перекличку, стоит наш командир перед строем, а вахмистр список читает. Они, подлецы, вместе дела обделывали.

«Кобыла Зоря,— кричит вахмистр и тем же тоном добавляет: — Убита в перестрелке».

«Веди ее на левый фланг»,— говорит командир.

«Обозный мерин Яшка пал от болезни живота».

«Веди его на левый фланг!»

И так каждый день. «Настреляют», «набьют» этак за месяц десятка три коней, продадут их и деньги делят между собой. Это что! Бывало, одного и того же мерина по три раза под разными названиями «убивали» и снова «воскрешали». Вся сотня видела. Молчали.

— А что, лют был?

— Да, не щадил. Бил людей смертным боем. Зато и над ним не смиловались. Сотенный кашевар его на Ляне первый ножом по шее полоснул, а за ним и другие пошли — кто чем.

— И вы это видели сами? — спрашиваю я. Мне как-то странно думать о том, что этот казацкий самосуд происходил в присутствии Гамалия.

— Видел. Да и не я один. Многие из наших офицеров были тут же. Что ж, поделом, собаке собачья и смерть. Жаль только, что немного поздно: меньше нанес бы казне убытку.

Так беседуем еще с полчаса. Кругом тишина, только в кочевье изредка заливаются псы. Черное небо с золотой россыпью ярких южных звезд вот-вот опустится на нас. Уже засыпая, я слышу, как вахмистр вполголоса докладывает командиру о том, что «на постах усе обстоит благополучно».

Джеребьянц все больше сближается с нами. Его манеры становятся проще, беседы откровеннее.

Пьем чай на одной из стоянок. Гамалий угощает переводчика своим неизменным шоколадом.

— С чаем вкусно,— уговаривает он, с наслаждением прихлебывая из кружки.— Ну, что вы скажете теперь о нашем походе?

Переводчик поднимает на есаула глаза, как бы изучая его внимательным взглядом. Затем его лицо делается серьезным, и, снизив голос, он говорит:

— Бесстыдная, безрассудная авантюра, которую мы предприняли только потому, что турки бьют англичан. Господам островитянам необходимо появление русских солдат на берегах Тигра, чтобы поднять дух индусов, гурков, сикхов, анзаков¹ и прочих подвластных Британии народов, руками которых они воюют.

¹ Австралийские и новозеландские войска.

— Разве у них там нет собственных английских частей? — осведомляюсь я.

— Очень мало. Их главным образом держат в тылу, а на передовые бросают цветные войска да австралийские, новозеландские и канадские части. После разгрома под Ктезифоном и нынешнего скандала в Кут-эль-Амаре господа британцы пожелали, чтобы мы пришли к ним на помощь, но...— Аветис Аршакович горько улыбается,— небольшими силами.

— Почему же небольшими? — удивляюсь я.— Если они нуждаются в помощи, то, мне кажется, в их интересах, чтобы мы послали крупные силы.

Гамалий иронически усмехается моей наивности. По-видимому, откровения Джеребьянца лишь подтверждают его собственные затаенные мысли.

— Очень просто! — объясняет Аветис.— Ведь юг Персии, Месопотамия и Аравия — это сфера английского влияния. Здесь расположены огромные залежи нефти, здесь важнейшие стратегические позиции Среднего Востока, здесь подступы к Индии. На все это Англия смотрит как на свою «законную» собственность и не желает подпускать к ним Россию.

На минуту Аветис Аршакович погружается в глубокое раздумье, затем грустно продолжает:

— Проклятая война! Если бы видели, господа, какие страшные зверства учинили турки над беззащитным, мирным армянским населением Восточной Анатолии! Нет, этого нельзя себе даже представить, кровь леденеет в жилах. Сотни тысяч убитых, в том числе женщин, детей, стариков, выжженные дотла селения, срубленные цветущие сады... Об этом нельзя говорить спокойно. Подумайте, ведь это истребление, физическое уничтожение целого народа — мирного, трудолюбивого, никому не делавшего зла. И возможно, этого удалось бы избежать. Не участвуй Порта в войне, она никогда не осмелилась бы на такую резню.

— Но ведь Турция сама напала на нас,— прерываю я,— так что волей-неволей пришлось с ней воевать.

— Видите ли, вы не знаете того, что известно мне. Мои друзья по министерству рассказали мне весьма странную историю, которая, конечно, составляет тайну архивов.

— Так что вы не имеете права нам ее поведать? — усмехается Гамалий.

— Нет, от таких друзей, как вы, у меня нет секретов. Да и вообще боюсь, что эта тайна может умереть с нами, так как не

особенно уверен, что выберемся живыми из той каши, в которую попали.

Мы напряженно слушаем. Зуев присоединяется к нам, но это не смущает Аветиса Аршаковича.

— Перед вступлением Турции в войну в Константинополе сильно заколебались. Как ни хотелось Энверу-паше с его компанией поживиться за счет России, но страхи, как бы не поплатиться своей шкурой, охлаждали пыл. Русскую мощь турки знают прекрасно. И вот Высокая Порта в секретнейшем порядке от немцев уведомила Петербург через русского военного агента в Константинополе Леонтьева, что она готова отказаться от союза с Германией и даже выступить на стороне Антанты при условии, если союзники гарантируют целостность Османской империи, откажутся от капитуляции и вернут туркам несколько эгейских островов. Цена показалась нашему правительству скромной. Турецкий нейтралитет позволял не раздроблять военные силы, а сконцентрировать их против самых опасных противников — Германии и Австрии. Правда, в Петербурге подозревали, что турецкое предложение направлено лишь к тому, чтобы выиграть время для мобилизации, но все же сочли его заслуживающим внимания. Однако решать без союзников мы не могли.

— А англичане, вероятно, категорически отвергли такое соглашение? — говорит Гамалий.

— Да. Но разве и вы что-либо знаете об этих переговорах? — удивленно восклицает Джеребьянц.

— Ничего не знаю, но я хорошо знаю англичан. Продолжайте, пожалуйста, Аветис Аршакович, — говорит есаул.

— Когда британский кабинет увидел, что русское правительство стоит за соглашение, английскому и французскому послам в Петербурге было предложено «умерить пыл русского императора». Выступление Турции на стороне Германии стало неизбежным.

— Но позвольте, зачем же это нужно было англичанам? — растерянно, совсем по-детски, спрашивает Зуев.

— Зачем? Да ведь Англия заинтересована в том, чтобы Россия воевала с Турцией. Это отвлекает русские силы с главного театра военных действий и не дает нам возможности разбить немцев. Длительная война в Европе выгодна англичанам. Она ослабляет и русских, и немцев, и французов. Англия же на своих островах остается целой и невредимой, и после заключения мира она продиктует свой, британский мир Европе.

— Какая подлость! — вырывается у Зуева.

Прапорщик словно прирос к своему месту. Его бесхитростному солдатскому сердцу впервые в жизни приходится соприкоснуться с предательской, полной противоречий дипломатической игрой.

— Кроме того, разгромив турок, русские тем самым дают возможность Англии без больших потерь превратить в свои колонии Месопотамию и всю остальную Аравию,— заканчивает Джеребьянц.

— И наш поход к Тигру — только маленький эпизод во всей этой политической каше. Но мы вышли в поход, и мы совершим этот рейд во славу русского оружия, во славу нашей родины! — говорит Гамалий.— Что же касается англичан, я только добавлю к тому, что говорил Аветис Аршакович, еще один пример. В тысяча восемьсот двенадцатом году Англия, будучи союзницей России, точно так же предавала ее. В те самые дни, когда Наполеон подходил к Москве и завязалась Бородинская битва, англичане, помогая нам в Европе, спровоцировали и вызвали в Персии войну против нас. Их офицеры, инструкторы, золото и пушки находились в персидской армии, дравшейся с нами. Такова политика Альбиона. И очень хорошо, что вы, господа, ознакомились с нею. Ну а теперь в путь!

Четвертые сутки пересекаем дебри Курдистана. Идем как по расписанию. Двигаемся днем, вечером подходим к намеченному пункту, ночуем там, а утром, получив новых проводников, опять пускаемся в путь. Везде нас встречают с редким радушием; жители кочевий охотно несут нам свои незатейливые продукты. Гостеприимство этих людей безгранично и превосходит даже знаменитое хлебосольство кавказских горцев. Вот тебе и «дикие разбойники», вспоминаю я определение одного из английских авторов. Даже курдские вожди оказались добросовестнее, чем о них думали англичане. Они, правда, вытянули от нас немалый куш, но обязательства свои честно сдержали. Да зачет им это Аллах!

— Вот люди: сами черны, а души у них чистые, вроде наших,— не переставая изумляется Пузанков.

— Ну, брат, и у наших разные бывают. Не дай бог, к сталоверам попадешь, так наплачешься, пока корку хлеба выпросишь,— возражает ему Горохов.

— Они, сталоверы, те же нехристи, даром что обличье русское.

— Да-а, дьяволы форменные,— отзывается кто-то.— А эти хочь и персюки, а все же... И неужто с ними воевать придется? Не дай-то бог! Люди что надо, ровно своих встречают; таких грех забижать.

И действительно, казаки, за которыми требовался строгий глаз, когда мы стояли в Персии, ведут себя в курдских кочевьях как будто это их родные станицы. За весь путь со стороны населения не поступало не только ни одной жалобы, но даже и малейшего упрека.

Тулэ лежит уже верстах в двухстах позади нас. Горы уже не так высоки, но они принимают более пустынный вид, леса исчезают. По всем признакам мы приближаемся к страшной «Долине смерти», как окрестили пустыню Гилян кочевые арабы бени-лаам. Идем без происшествий, если не считать появления неприятельского аэроплана, вчера долго кружившегося над горами. При первых звуках мотора Гамалий спешил сотню и укрыл ее в одной из глубоких впадин, густо изрезывающих массив Кара-Даг. Аэроплан летел на довольно значительной высоте. Он обогнул Курдистанский хребет, залетая даже в сторону Гилчна, но среди черных камней, загромаждающих горные щели, можно было с успехом спрятать целую дивизию, а не только одну нашу сотню. Покрутившись часа полтора, воздушный разведчик исчез в направлении Багдада.

Итак, мы окончательно открыты. Нас ищут там, где мы должны быть. Это предвещает нам серьезные опасности по выходе из Курдистанского хребта. Казаки не догадываются об этом, и потому аэроплан вызывает их веселые шутки.

— Ишь, стерва, кружит, ровно ястреб, свалиться ему в пекло! — посылает свое напутствие Карпенко.

— Ай не любишь? — смеются над ним.— А ты не ругайся. Может, он тебе гостинчик вез, а ты от его сховався.

Завтра последний переход, и к вечеру мы спустимся в долину. Лицо Гамалия озабочено. Только сейчас начинаются главные трудности рейда. Впереди нас ожидает палящий зной, отсутствие продовольствия и фуража, возможные встречи с неприятелем, которому нетрудно будет найти нас с помощью воздушной разведки на ровной местности, где невозможно спрятаться. Кони наши едва бредут. Большинство стерли холки и разбили копыта о камни дороги.

Сегодня утром вахмистр доложил есаулу, что среди людей «занедужили» трое. Они еще кое-как держатся в строю, но вид их не сулит ничего хорошего. Глаза больных лихорадочно бле-

стоят, по утрам их жестоко знобит. «Консилиум» наших фельдшеров, Ярчука и Тимошенко, ставит диагноз: малярия. Не дай бог подобного удовольствия в пути.

Хорошо, что мы имеем проводников. Хваленая карта англо-индийского генерального штаба содержит массу неточностей и никуда не годится. Гамалий то и дело извлекает ее из сумки, чтобы нанести какую-нибудь отсутствующую на ней дорогу или стоянку кочевников.

С удовольствием вспоминаю баню в Тулэ, куда меня чуть не насильно затащил Пузанков. К сожалению, другого случая помыться не представляется, а общение с курдами и посещения их шатров не проходят даром. Я чувствую, как по мне ползают противные, неумолимые враги. Все чистое белье, взятое с собою на дорогу, уже израсходовано, а постирать как следует грязное не удастся. Химич упорно старается применить рецепт собственного изобретения. На каждой ночевке он снимает с себя гимнастерку и покрывает ею горячую, потную спину коня. По его словам, конский пот — волшебное средство против паразитов. К несчастью, практика опровергает теорию, и бравый прапор не менее меня кряхтит, ерзает и почесывается в седле.

Больные чувствуют себя все хуже. Один из них, Саценко, настолько ослабел, что вынужден был слечь на носилки. Среди этих невзгод приятно смотреть на Зуева. Он едет рядом со мною и бесконечно чему-то радуется. Его детское лицо сияет избытком юного беспричинного счастья. Он мурлычет себе под нос юнкерскую песенку о «паре голубеньких глаз» и улыбается, по-видимому, собственным мыслям. Это в первый раз после смерти Трохименко.

— Что с вами, юноша? Видели приятный сон?

— Да, Борис Петрович, чудесный. Я вообще редко вижу сны, особенно хорошие, но сегодня видел голубой сон.

— Голубой? Это что ж такой за сон? — недоумеваю я.

— Не знаю, как вам объяснить. Это есть такая песенка Вертинского «Как сон голубой». Ну, одним словом, радостный, счастливый. — Он смущается и тихо договаривает: — Маму свою видел с сестрой и еще подругу сестры, ее одноклассницу, которая мне давно очень нравится. Вы не думайте, конечно, — спохватывается он, — что я верю в сны. Нет, этого нет, а все же очень приятно хоть во сне с родными повидаться.

Нужно сказать, что Зуев поэт, хотя в этом он никому никогда не признается. Но однажды мне случайно попались на глаза плоды его ночных вдохновений, где воспевались чьи-то бело-

курые локоны и голубые глаза. Стихи были довольно наивные, написаны неумело и хромали по части размера, но их тон и свежесть выраженных в них чувств взволновали меня.

Горы постепенно сливаются с равниной. Еще верст десять — двенадцать, и кончится благодатный гористый Курдистан, населенный славными, так радушно встречавшими нас людьми.

Дорога ныряет среди холмов и медленно спускается вниз. По равнине стелется туман. Вдали сверкает широкая лента реки, за нею сереет полоса бескрайней низменности, укутанной в голубовато-пепельную мглу. Вся местность кажется беспощадно выжженной солнцем, и только берега реки окаймлены темными рядами деревьев. Горячее дыхание пустыни чувствуется все сильнее. Зной становится нестерпимым. Нас охватывает горячий, неподвижный, удушливый воздух. Зеленая волнистая мурава кончается у подножия гор и сменяется сухой травой, пожелтевшей от беспощадных лучей солнца. Под ногами скрипит нанесенный ветрами пустыни безжизненный песок.

— Вот она, степь-матушка, без конца, без краю! Почему-то она ровно туманом покрыта?

— А должно быть, и жарко в ней, как у черта в пекле, — несутся голоса.

Всем любопытно взглянуть на беспредельную, задернутую пеленой тумана равнину.

— А в ней не спрячешься. Как на лодожках видать со всех сторон, — цедит сквозь усы Химич, оглядывая скучающим взглядом низменность.

— Ричка! Слава тебе господы, дошли до степу. Хай с тымы, с горами, обрыдли по це мисто, — радуются казаки.

Мы спускаемся по затейливо петляющей горной тропинке. Курды-проводники довольны. Они щелкают языками и что-то весело лопочут по-своему. Внизу, у подножия последнего холма, они расстанутся с нами, и мы совершенно одни пойдем к далекому и неведомому Тигру. Что будет с нами в этой жуткой степи, удастся ли нам скоро встретить англичан — не знаю. Казаки тихо запевают:

Ой ты, степь моя, степь Моздоцкая...
Да широко ты, степь, пораскинулась,
К морю синему, да Хвалынскому
Понадвинулась.

Второй день идем по степи. Пока ничего особенно страшного. Пустыня издали казалась гораздо беднее растительностью,

чем в действительности. Седой ковыль беспрестанно движется по степи, колеблющимися волнами убегая на юг. Чахлые деревца, более похожие на кустарник, понатыканы по сторонам. Груды выветрившихся скал и камней высятся над степью. Серые, неприветливые птицы кружат над ними. Ковыль шуршит под копытами коней и кое-где, особенно в ложбинках, поднимается почти до стремян. Идем без дорог, по компасу и карте. Гамалий не сводит глаз с трехверстки. Впереди маячат дозоры. Двигаемся не спеша. Ночь провели довольно спокойно, сделав привал там, где нас застигла темнота. Больным нашим хуже. Как думает фельдшер, у Саценко не малярия, а брюшной тиф. Час от часу не легче, особенно если учесть отсутствие какого-либо ухода за больным и наше непрерывное продвижение вперед.

Степь все раздвигается, и не видно ее конца. Чем дальше мы углубляемся в нее, тем больше охватывает чувство одиночества и полной заброшенности. Иногда мысль возвращается к полку, к оставленным за линией фронта товарищам, к станице. Как видно, казаки испытывают то же самое. Они чаще вздыхают, реже смеются и совершенно не поют песен. Даже беспечный и всегда веселый Востриков присмирел, и его голоса не слышно из рядов. Питаемся запасами сушеной баранины, взятой из последнего кочевья, коням выдаем уменьшенную порцию ячменя. Химич молчит и только изредка искоса бросает на нас взгляды. Зуев сдружился с Аветисом Аршаковичем и усиленно зубрит английские разговорные фразы, коверкая произношение: «Спик ю инглиш?», «Ай лов ю». Гамалий неизменно бодр и держится по-прежнему твердо и уверенно.

— Ну, орлята, не вешайте носы,— окликает он приумолкнувших казаков.— Що, Лобода, мабудь, до жинки захотилось?

— Що ж, и то добре. Теперь в степу на Кубани жыто цвитає,— мечтает Лобода,— и просо и пшениця по-над хуторами піднимаються та блескати як сонце, з степу духовитый витей йде. А ты, як той пан, сыдышь пид сонцем та гриєшься.

— Що ж, мало тобі тут сонця? Всего кажин день, як кабан, жарит,— сумрачно бросает ему Сухорук.

Легкое оживление пробегает по рядам и снова исчезает. Люди утомлены и вялы, у большинства усталое выражение глаз. На каждой стоянке все так и валятся на землю. Отдохнуть! Бесконечное путешествие и этот проклятый зной изнурили людей. Солнце круглый день немилосердно льет на нас потоки своих расплавленных лучей. От них не спасают ни мохнатые папахи, ни плотные черкески. И чем больше вливается в

нас этого ядовитого тепла, тем слабее и беспомощнее становимся мы. Солнце круглым желтым блином висит над нами и заливает всю степь ослепительным блеском. К вечеру оно неожиданно скатывается к горизонту, разливая по небу фантастическую оргию красок. Ночью степь принимает совершенно иной облик. Луна освещает пустынную равнину мертвым, фосфорическим сиянием. По степи бегут какие-то шорохи, шуршат высокие сухие травы, и кажется, будто бродят где-то возле нас неведомые люди. Казаки тревожно всматриваются в ночь и, вздыхая, шепчутся:

— Ох, не к добру. Проклятая степь заколдованная, не хуже нашей Моздоцкой.

В эти минуты я люблю лежать около сбившихся в кучки казаков и слушать их дикие, суеверные рассказы о привидениях и мертвых татарах, вылезающих по ночам из курганов, чтобы бродить по Моздокской степи. Как-то я попробовал объяснить им, что шорохи и тоскливые вздохи пустыни происходят от резкой перемены температуры между днем и ночью, но объяснение мое было встречено общим молчанием. К моему удивлению, даже такой развитый и книжный человек, как урядник Сухорук, угрюмо и убежденно возразил мне:

— Может, оно, вашбродь, и так, но как по-нашему считать, по-станичному, как наши деды и отцы понимали, не от Бога все это, а от лукавого. Души неприкаянные это ходят по степу.

— Да какие же души, чудака ты человек? Ведь здесь земля-то нехристианская.

— Все одно, вашбродь, люди везде одни, и души у всех человечьи. Все одно должны после смерти успокоение найти.

— Это да, точно. Без этого нельзя,— поддержали Сухорука упорные голоса.

Люди понемногу засыпают. Все погружается в тишину. Только слышно, как стреноженные кони переходят с места на место в поисках более съедобной травы да изредка сквозь сон что-то пробормочет спящий казак. Умолкают звуки, и пустыня вновь кажется царством мертвых.

Диала — один из самых крупных притоков Тигра, впадающий в него около Багдада,— большая, многоводная река, ширина которой местами не менее версты. Ее спокойные, сонные воды текут тихо и заставляют предполагать значительную глубину. Сейчас будем переправляться через нее. Гамалий рассу-

пал часть сотни на поиски брода и сам руководит ею. Остальные казаки спешили. Некоторые поят коней, другие быстро разделись и въехали верхами в воду, напоминая резвящихся кентавров. От реки несет прохладой и живительной свежестью. Оба берега окаймлены зеленой полосой кустарников и густого высокого камыша. В прибрежных зарослях кричат встревоженные утки, над водой носятся перепуганные нырки. По ту сторону реки, над непроницаемой стеной камыша, высится небольшой лесок.

В ожидании результата поисков брода располагаемся в кустах на недолгий отдых. Так приятно опуститься на мягкую траву и задремать в прохладной, давно не виданной тени. Казаки плещутся в реке, нарушая тишину веселыми криками.

Лежу долго, пока не приходит за мной сияющий Зуев.

— Чего лежите? Ведь такое удовольствие не скоро представится снова. Идемте поплаваем. Я уже успел выкупаться и опять хочу в воду.

Поднимаюсь, и мы сбегает к реке. В воде светлыми пятнами сверкают тела казаков. Всюду слышны радостные, довольные голоса. Раздеваемся и бросаемся в теплые, ласкающие воды Диалы. Несколько человек переплыли реку и в голем виде отплясывают на противоположном берегу танец дикарей.

Из зарослей камыша выходит Химич, за ним вылезает Карпенко. У последнего в руках что-то вроде веревки, которую он осторожно поднимает над головой. Купающиеся выскакивают из воды и сбегаются к ним.

— Борис Петрович, побежим посмотрим, что там такое, — уговаривает меня Зуев и, не дожидаясь моего ответа, несет по мягкому отлогому берегу. Я спешу за ним. Посреди кучки любопытствующих стоит с довольным видом Карпенко; в его руке извивается длинная серо-коричневая змея, казавшаяся мне издали веревкой. Шея змеи крепко ущемлена пальцами казака, а ее блестящее гибкое туловище судорожно извивается вдоль руки Карпенко.

— Ишь, гадина! Глаза как у волка. А что, с ядом она али безвредная? — слышится чей-то любопытный голос.

— А ты сунь ей палец в рот — узнаешь, — советует кто-то.

— Мало не будет.

Я гляжу на змею. Характерный серо-пепельный цвет туловища с коричневыми крапинками на спине и красиво загнутые назад зубы в широко открытом рту не оставляют сомнений. Так и есть, это страшная гюрза, одна из самых опасных змей Сред-

него Востока, укус которой почти всегда влечет смертельный исход. Я предупреждаю Карпенко, но он смеется и беззаботно говорит:

— Я их не боюсь, вашбродь, воны сами меня боятся. Я какую угодно змею могу в руки взять.

Один из казаков бежит в кусты и возвращается оттуда с обнаженной шашкой.

— А ну, Карпенко, пускай ее на землю! — просит он, размахивая шашкой.

Мы, несомненно, представляем собою довольно комическое зрелище — толпа голых людей, окружающих «укротителя змей». Некоторым надоедает разглядывать змею, и, не дождав-шись конца представления, они снова лезут в воду.

— Ну держи, не обожгись! — внезапно кричит Карпенко. Ловко перехватывает змею за кончик хвоста, бешено вращает ею по воздуху на вытянутой руке и с размаху бросает на мягкий песок. Ошеломленная гюрза еле шевелится и не пытается уползти. Мы разбегаемся в стороны, а голый вояка неистово крошит злополучную змею на десятки кусков.

— Ну будя, повоевал, заработал Егория, — смеются над ним казаки.

Вдалеке на берегу показываются конные. Это Гамалий с передовыми. По всей вероятности, место для переправы найдено, и мы сможем двинуться вперед. Я вылезаю из воды и кричу:

— По коням!

Ближайшие ко мне казаки передают «голос», и отовсюду спешат к берегу резвившиеся в воде пловцы.

Течение медленно сносит нас вниз. Напрягаемся и усиленно работаем руками. Кони храпят сильнее, и я вижу, как мой Орел испуганно поводит глазами, как будто ищет меня. Я подплываю к нему и ласково глажу по мокрой голове. Он косится на меня, успокаивается и негромко радостно ржет.

Вот наконец и правый берег. Плывшие впереди казаки уже становятся на ноги и выводят коней на отмели. Теперь и я чувствую под собою дно. Тяну за чумбур коня и, радуясь благополучной переправе, лезу на довольно крутой берег. Оглядываюсь назад. Почти вся сотня уже переправилась. К берегу медленно подплывает плот, на котором сидит Гамалий, все время бдительно следивший за плывущими, и с ним трое больных. Плот должен еще раз вернуться на тот берег, чтобы забрать небольшую кучку людей, вовсе не умеющих плавать.

На больших, накаленных солнцем камнях, рассеянных вдоль берега, казаки расстилают мокрую одежду. Кони отфыркиваются и отряхиваются, разбрасывая вокруг себя серебристую, сверкающую радугой водяную пыль. Несколько голых казаков гонятся вприпрыжку за хохочущим, быстро улепетывающим Карпенко. Подплывает к берегу Зуев. Его красивое, выразительное лицо блестит от воды. Отдуваясь и откашливаясь, он вылезает на камни.

— Ну и работка! Устал, словно кирпичи таскал,— смеется он и бредет по песку ко мне.

Казаки в одних сапогах и папах бегают за разыгравшимися, не дающимися в руки конями.

— Держи его!.. А-ту-ту-ту!.. О-о-о!..— раздается истошный крик по крайней мере десятка глоток.

Ломая и пригибая камыш, по кочкам несется здоровенный темно-бурый кабан, испугнутый случайно наткнувшимися на него людьми.

— Эх, кабы винтовочка была в руках! — чуть не плачет Химич, глядя вслед удирающему животному.

— Вдарь! Вдарь с вынта! — слышу я почти умоляющий вопль, и, прежде чем мне удастся помешать выполнению этого весьма неуместного в данных обстоятельствах совета, грохочет гулкий выстрел, за ним другой.

Убегающий кабан задерживается, падает, перекачивается на бок.

— Убил! — восторженно режут казаки.— Ай да Востриков!

Из камыша выбегает возбужденный Востриков. В одной руке у него винтовка, а в другой — серая папаха. На радостях он кидает ее на землю и бежит к убитому кабану.

С плота, уже пристающего к берегу, поднимается фигура Гамалия. Есаул машет руками и что-то кричит.

— У-у-уать! — доносится до нас: «не стрелять».

— Передай «голос»: не стрелять,— по живой цепи перебрасывают казаки.

Несколько полуголых казаков с деловитым видом щупают убитую свинью, для чего-то переворачивают ее на бок.

— Здоровая, сука, пудов на семь будет,— решает Карпенко.

Кабан действительно матерый. Его печально поникшие клыки остро топорщатся из-под окровавленной губы. Пуля Вострикова прошла через все туловище и застряла где-то в голове животного.

— Чего вы, черти, содом тут подняли? — говорит Гамалий, спрыгивая с плота. — Хотите, чтоб самих постреляли, как свиней?

— Никак нет, вашскобродь, только дуже здоровый кабан попался, ну я и не стерпел.

— Ну уж, конечно, разве ты удержишься! Чтобы это было в последний раз, а то из-за кабанов пропадем сами.

Животное тащат к воде, растягивают на песке, и двое казаков тут же начинают свежевать его. Неведомо откуда налетевшая мошкара тучей кружится над распарываемой тушей.

Плот перевозит последних людей. Мы дожидаемся их и, довольные неожиданным отдыхом, блаженствуем.

На этом берегу природа гораздо богаче. Кустов почти нет, они растут только у самой реки, зато на слегка возвышенном берегу густая крона невысоких раскидистых деревьев дает приятную, прохладную тень. Ноги тонут по колени в сочной изумрудной траве, пестреющей давно не виданными нами красными, желтыми и синими цветами.

Зуев не выдерживает и бросается собирать букет.

Кони разбрелись по поляне и щиплют вкусную траву.

— Юноша, будьте осторожны. Здесь, вероятно, змей не один десяток, — предупреждаю я.

Прапорщик шутливо отмахивается рукой и продолжает нырять в траве.

Казаки освежевали кабана, разрубили его на части и сейчас священнодействуют над большим, сложенным из сухого камыша костром. Ароматный запах шашлыка тянется по воздуху и щекочет ноздри.

Переправа все же не обошлась без приключений. Один из казаков, с чудной фамилией — Семихатка, неправильно надев на себя турсуки, перевернулся на большой глубине и пошел ко дну. К счастью, плывшие рядом казаки вытянули уже захлебнувшегося горе-пловца. Сейчас «утопленник» сидит на берегу с мучительно выкатившимися глазами и бледным, больным лицом. Внезапное погружение в воду не обошлось ему даром. Он лязгает зубами, смущенно огрызаясь на издевающихся над ним казаков.

— Мы прошли как раз полпути. Пока, слава аллаху, все идет более или менее благополучно. Дай боже, чтобы и дальше было не плоше, — говорит Гамалий.

Но по его грустным глазам я вижу, как он озабочен. Очевидно, в глубине души он далеко не уверен в том, что его скромное

пожелание сбудется. Именно здесь, за Диалой, нас ожидают самые тяжелые и трудные испытания.

— Кабанцю, вашбродь, не желаете попробовать?

Ко мне тянется наскоро выстроганный из свежего прута шампур, на котором аппетитно дымятся вкусно зажаренные, сочные куски кабана. Поочередно отдираем мясо с прута и, густо посолив, уничтожаем неожиданно попавшийся деликатес. Аветис Аршакович вскакивает с места и, с трудом прожевывая кусок, говорит:

— Минутку терпения, господа, и я угощу вас прекрасным эриванским шашлыком.

Он бежит к костру и возится возле него.

В ожидании «эриванского» мы уничтожаем казачий шашлык. Вся сотня лакомится кабанятиной, и скоро от огромной туши остаются разбросанные на песке обломки обглоданных, высосанных костей.

Гамалий следит за солнцем. Оно по-прежнему беспощадно к нам и так же немилосердно палит.

— Нельзя! Никак нельзя выступать. Надо переждать зной. Никитин!

Вахмистр подходит к командиру. В руке у него большая кость, на которой кое-где еще висят клочья мяса. Челюсти его продолжают жевать.

— Что ж ты к командиру идешь с занятыми руками? — строго останавливает его Химич.

— Да больно вкусный мосол, — улыбается Никитин. — Оставь его там — хлопщи сейчас и утянуть. Вишь, народ какой.

— Ничего, ничего, дело не в мосоле, — улыбается Гамалий. — Вот что, Лукьян, сейчас будем отдыхать, выступим только часов в шесть-семь. Предупреди казаков, пусть пополусотенно отдыхают и расседлывают коней. Поставь на опушке дозоры, и пусть у пулеметов дежурит наряд. Остальным можно заваливаться спать.

— Покорнейше благодарим! — оживляется вахмистр. — Правильно сделали, вашскобродь. Мы уж сами хотели просить, чтобы на вечер идти. Никак в такую жару ни коням, ни людям невозможно в пути.

Он уходит, и через минуту казаки, довольные неожиданным продлением привала, рассыпаются по берегу. Некоторые снова лезут в воду, большинство же укладываются спать в тени деревьев. Следуя благому примеру, поступаю так же. Ко мне на грудь летит охапка цветов. Это Зуев притащил полупудовый букет и теперь оделяет каждого.

— Господа, господа, это же свинство! — волнуется Аветис. — Я только что приготовил шашлык, а вы заваливаетесь спать.

— Ладно, ладно, кормите вот молодого, — указывая на Зуева, говорит Гамалий, — а мы лучше поспим.

Затем он мечтательно тянет:

— Теперь бы чайку, потом курнуть, а после и прикорнуть.

При последних словах есаула я погружаюсь в сон.

...Жара спала. Вечер мягкий. Свежий воздух напоен лесными ароматами. Мы пьем чай с неистощающимся шоколадом есаула. Вся сотня отдохнула и теперь охотно готовится в путь. Больные тоже посвежели и подбодрились. Лихорадка отпустила их, и только желтые, изможденные лица свидетельствуют о недавнем приступе.

Наконец все увязано, упаковано, навьючено. Садимся на коней и трогаемся в путь. Казаки крестятся и оборачиваются, бросая назад, в сторону темнеющих на горизонте Курдистанских гор, прощальные взгляды. Все отлично понимают, что самое трудное начинается теперь.

Объезжаем прибрежные буераки и идем по густому лесу. Впереди среди деревьев мелькают наши дозоры.

— Маленько подались влево, — говорит Гамалий, складывая карту, которую он только что вновь рассматривал. — Теперь придется исправлять направление.

Ехать хорошо. Верхушки деревьев тесно переплетаются между собой, образуя настоящие арки. Мы спешим выбраться из лесу до наступления ночи, переходим на рысь. Через полчаса лес редет, начинают чаще попадаться кусты, и наконец мы выезжаем на обширную поляну, где растет лишь трава. Дальше тянется чахлая степь, переходящая в пустыню Гилян — ту самую, о которой со страхом говорили наши проводники.

Лес остался позади. Мы все дальше и дальше углубляемся в степь. Ночь темна, звезд почти нет, и держим направление по компасу. Иногда кони увязают в какой-то жидкий грунт; это, вероятно, болото или песок. Часов в двенадцать на небо выкатывается луна и медленно поднимается над горизонтом. Скучный свет озаряет пустыню — именно пустыню, потому что степь осталась позади. Под копытами коней звонко отстукивает каменистый грунт. В ночной мгле по сторонам рисуются огромные скалы и темные сады, но это только обман воображения. Степь гладка, как гладильная доска, и непомерно тиха. Каждый звук и каждый шорох гулко отдаются и перекатываются по пустыне.

Кони притихли, люди замолкли, вся сотня неживыми тенями движется по мертвой равнине. Впереди растут колеблющиеся призраки, как дым тающие при нашем приближении. Пустыня родит мистические настроения, усиливаемые бледным светом неживой луны. Черным движущимся пятном маячит сотня на ровной, сероватой многоверстной равнине. Отставших нет. Все жмутся друг к другу, и даже обоз, обычно путешествующий автономно, сейчас ни на шаг не отрывается от колонны.

Пустыня дышит неровно, как вспененный, сильно загнанный конь. Шорохи и шелест растут, по сторонам что-то движется и стремительно уносится вдаль. Это ветер — неожиданный, какой-то густой, упругий и мгновенно меняющий направление. Он обгоняет нас, срывает сбоку невидимый песок. Песок шуршит, порывы ветра слепят нам глаза, а через минуту снова все тихо, спокойно, и кажется, будто серая жуткая мгла еще плотнее охватывает нас своей таинственной пеленой.

Лунный свет блекнет, звезды меркнут, становится темнее и прохладнее. Близится рассвет.

Гамалий смотрит на светящийся циферблат своих часов. Уже четвертый час, а из лесу мы вышли приблизительно в восемь. Переход прошел довольно сносно, хотя люди устали и едва держатся в седлах. Порой умудряюсь на секунду заснуть. Какие-то бессвязные обрывки снов с молниеносной быстротой сменяют один другой, и первый же толчок будит меня. В голове тотчас же проносится мысль, что кругом на сотни верст раскинулась пустыня, а позади меня едут еще сто таких же выбившихся из сил, жаждущих сна и покоя людей.

Не помню, как мы добрались до какого-то пригорка, у которого буквально слегла вся сотня. Обессиленные кони и измученные люди темными пятнами усеяли сухую солончаковую землю. Как и другие, я валюсь с ног и моментально засыпаю. Только над Гамалием усталость как будто не имеет власти. Погружаясь в непреодолимый сон, я слышу, как он отдает приказание выставить охрану из полутора десятков наиболее дюжих казаков, сохранивших остатки бодрости.

Просыпаюсь от ощущения жгучих лучей солнца. Передо мною расстилается унылый, безрадостный пейзаж. Высохшая степь, раскаленный песок, слепящие глаза солончаки. Вокруг ни одного холма, ни единого деревца. Только серые гряды дюн

кое-где поднимаются над землей. Почти все люди проснулись. Солнце не дает спать. Но встать и ходить в этом зное невозможно. Силы оставляют тело, а в голове путаются неясные мысли. Душно невероятно. Кони понуро стоят, опустив головы, врас-тая в песок всеми четырьмя ногами. Страшно подумать, что мы обречены мучиться в этом пекле весь долгий день. Некоторые наиболее изобретательные казаки, вероятно, с самого утра на-тянули на воткнутых в песок шашках и кинжалах походные палатки. Остальные следуют их примеру. Маленькие куски холста являются слабой защитой против беспощадных лучей, но все же предохраняют лицо и руки от болезненных ожогов, а голову от солнечного удара.

Ни единого освежающего дыхания ветерка. Жара, от кото-рой мы так страдали в Персии, кажется мне сейчас райской прохладой. Бесконечно медленно тянется время, и теряется ясное представление о нем. Мы спим, просыпаемся и снова погружаемся в забвение. Страшно хочется пить. Не знаю, что было бы с нами, если бы Гамалий не приказал предусматри-тельно наполнить водой из реки все имеющиеся в сотне турсу-ки, бочонки и баклаги и погрузить их на заводных коней. Воды выдается немного; Гамалий сам неусыпно следит за ее расходе-ванием. Вода здесь дороже золота, ибо это — жизнь. Плохо при-ходится коням. Водяной паек для них мал, и они жестоко стра-дают от жажды. Если ночью мы не сумеем напоить их как сле-дует, нам грозит опасность продолжать путь пешим порядком. Но где напоить? Встретим ли мы какой-нибудь ручей или ис-точник? Руководствуясь внушающей слабое доверие англий-ской картой и разноречивыми сведениями проводников-кур-дов, Гамалий рассчитывает найти верстах в семидесяти от пе-реправы оазис Сиди-Магомед, в котором бьет из земли родник и находится маленький арабский поселок, с двумя-тремя десят-ками жителей. Я знаю, что Гамалий надеется прийти туда к ночи. Но что будет, если эта надежда не оправдается?

Солнце перекачивается на запад, и на горизонте вырастает синеватое облачко. Казаки с упованием смотрят на него.

— Эх, кабы Господь благословил дождичком, поддержал бы казаков, христианских людей! — вздыхает Горохов.

Жара спадает, в воздухе разливается предвечерняя прохла-да, и как-то легче и радостнее становится на душе. Казаки вы-ползают из-под своих палаток и не сводят глаз с той части неба, где все больше вспухает обрадовавшее нас облачко.

— Помочило бы так, как на этапе! — мечтает кто-то.

— Вот она, жизнь-то наша казачья: дождь идет — о солнышке молишь, а солнце пригреет — опять дождь зовешь, — говорит Химич.

— Эх, вашбродь, хорошо теперь бабам в станице. Легкая у них жизнь, ей-богу, — обращается ко мне Востриков и убежденно развивает свою мысль: — Что бабе? В тепле, в сыте, спит сколько хочет, ест ровно свинья. Ни тебе пуль нету, ни тебе войны. Я, вашбродь, даром что урядник, а очень даже легко поменялся бы на бабье положение, кабы можно.

К моему удивлению, никто не смеется над словами Вострикова. Наоборот, кое-кто серьезно поддерживает его. Видно, что вопрос этот не раз обсуждался между казаками и они имеют о нем свое определенное мнение.

— Что баба? У бабы нет тягла, поела да спать лягла. Бабе не жизнь, а одна скусная конфета. Хоть с чем ни сравните, а вот хуже нашей казачьей жизни нету. Одна слава, что казаки, а муки нам положено больше, чем другим людям. Мы, вашбродь, и за себя, и за других страдать должны. Вот сейчас англичане небось в покое, в довольстве прохлаждаются. Ждут нас. Лежат на пузах под деревьями да поглядывают. А мы через степя да горы к ним идем, своей крови и силушки не жалеем. А почему? Да все потому, что слава о нас такая — казачья, молодецкая. Орлы, мол, они все могут! Ну вот, мы и летим орлами, да только до дому-то ворочаться ровно галки ободранные будем.

Сухорук говорит спокойно, как будто заранее зная, что его речь не встретит возражений. Глаза его прямо и честно смотрят на меня, и, хотя я не должен разрешать ему говорить подобные вещи, у меня не находится иных слов для ответа, как: «Да, брат, ничего не поделаешь: послали, значит, так нужно».

Кони едва волочат ноги и поминутно останавливаются. Часто слезаем и ведем их в поводу. Несмотря на боязнь затеряться в пустыне, все же многие отстают. Подолгу стоим, поджидая их. Особенно тормозят нас больные. Сегодня заболели еще двое. Неизвестно, где и когда они заполучили дизентерию.

Из темноты то и дело несутся заглушенные крики:

— Э-эй!.. Сотня, подожды-ыть... Э-эй!..

Мы ждем. Отставшие мало-помалу подтягиваются. Делаем перекличку по взводам. Слава богу, все налицо. Можно двигаться дальше. Темные фигуры вяло и нехотя поднимаются с

земли и бредут за нами. У некоторых казаков кони совсем обессили и не в состоянии идти дальше. Озлобленная брань и удары плетей мало помогают. Какую жалкую картину должна представлять сейчас для стороннего зрителя наша «лихая» сотня, посланная на соединение за тысячу верст!

Зажигаются бледные, тусклые звезды, но даль все так же безжизненно сера. Минуты кажутся часами. Господи, да где же, наконец, этот заколдованный оазис?! Ведь иначе смерть. Я стискиваю зубы и почти ненавижу в этот момент есаула. Гамалий, вероятно, не подозревает об этом. Время от времени он поглядывает на часы и бормочет про себя:

— Эге, здорово запаздываем; уже одиннадцать часов, а мы еще в девять должны были быть в Сиди-Магомеде.

В темноте мне не видно его лица, но в его голосе слышится поражающая меня уверенность.

— Вы говорите так, как будто мы едем по железной дороге,— желчно иронизирую я.

— Вина за запоздание лежит не на мне, а на составе поезда,— парирует он и уже громко обращается к сотне: — Итак, ребятки, сейчас малость отдохнем, а через полчаса доберемся и до села.

— Слава богу,— шепчет Химич,— добрались!

Слышно, как громко и облегченно вздыхают казаки. Некоторые из них крестятся.

Самоуверенный тон есаула раздражает меня.

— Вы не ошибаетесь, Иван Андреевич? — спрашиваю я.— Ведь впереди нет и намека на жилье.

— Ошибки быть не может. Я точно вымерил расстояние до оазиса по карте, учитывая ее возможные погрешности, прикинул лишних полтора часа; итого получилось шесть с половиной часов. Ушли мы со стоянки в пять, сейчас — одиннадцать. Следовательно, скоро будем на месте.

— А если мы сбились с направления или этот оазис — миф?

— Это невозможно. Карта и проводники могли ошибиться лишь в числе верст, на что я и прикинул лишнее время, а раз компас в руках, сбиться с дороги можно лишь в пьяном виде.

Как бы в подтверждение этих слов вынырнувший из темноты дозорный, запинаясь от радости, докладывает:

— Вашбродь, село вот тугочки, рукой подать. Ребята у околицы стоят. Разрешите осмотреть разъездом.

Бешеный восторг охватывает людей. Как по волшебству, исчезают терзавший их страх, усталость, апатия. Голоса гудят,

перекидываясь по рядам. Даже кони, почуяв близкий отдых, встрепенулись и ускоряют шаг.

— Иван Андреевич, пошлите меня в разъезд! — просит Зуев, хватая руку командира.

— Ладно, юноша, действуйте! Осмотрите все как следует и сейчас же пришлите связь. Оцепите немедленно село караулами, чтобы никого не выпускать оттуда. Ну, с богом! Захватите с собой Аветиса Аршаковича и Сухорука.

Зуев с казаками в сопровождении Джеребьянца удаляются. Негодование и злость сменяются во мне раскаянием.

— Вы уж простите меня, Иван Андреевич, но, знаете, в душе я ругал вас, думал, что завели невесть куда. Решил уже, что погибнем в песках.

— Ха-ха-ха! — добродушно смеется Гамалий. — Я, братику, уже бачив, та тилько виду не показав. Я, може, не меньше вашего ще пожить хочу.

Справа от нас, совсем неподалеку, лают собаки. Пахнет дымом. Тишину пререзает отчетливый конский топот.

— Вот дураки! По спящему селу лупят карьером. Ну, допустим, прапор еще молод, неопытен. Но Сухорука-то зачем с ним послал?

Мы подходим так близко к селу, что теперь уже отчетливо вырисовывается густая куща его садов, принимающих в темноте причудливые формы. Скапливаемся у околицы. Неистовое ржание и возня свидетельствуют о том, что кони чуют воду и рвутся вперед.

— Не давать коням пить, пока не разрешу. Кто напоит до приказа, не получит суточных, — объявляет Гамалий.

Наконец подъезжает казак от Зуева. Все в порядке. В селе не видно никаких войск, и жители, вероятно, даже не подозревают о нашем прибытии. Посты у выхода из оазиса выставлены, и мы можем без риска войти в него.

Село уже пробудилось. На единственной его улице снуют встревоженные люди в длинных белых бурнусах, с зажженными, зловеще чадящими факелами в руках. Языки пламени лижут насаженные на палки пропитанные нефтью жгуты, и тревожные тени мечутся по земле. На мгновение из мрака возникает то ствол высокой пальмы, то серая камышовая крыша хижины.

Жители перепуганы. Фронт далеко от них, и появление каких-то солдат кажется им необъяснимым чудом. Сначала они

приняли нас за турок, но, увидев диковинное обмундирование и услышав незнакомую речь, поняли свою ошибку. Громкие причитания, плач женщин и детей сменяют тишину ночи. В мгновение ока пробуждается все село, и встревоженная толпа заполняет улицу. Аветис успокаивает ее. Он обещает не причинять оазису и его жителям никакого ущерба и просит лишь о гостеприимстве. Жители успокаиваются и заверяют нашего переводчика, что отряд будет принят дружелюбно.

Казаки повзводно поят коней у холодного источника, протекающего тут же, посреди оазиса. Коней не оторвать от холодной, вкусной воды. Мы все также спешим утолить мучающую нас жажду. Теперь у всех одно желание — завалиться спать.

Тишина вновь царит над оазисом. Слышно только, как хрустят зерном голодные кони да бродят, борясь со сном, дежурные по коновязи, дневальные. Луна наконец выходит на небо и щурится на нас.

Во сне мы забываем все страхи и невзгоды сегодняшнего дня.

Яркое и радостное утро. Солнце палит, но благодатная густая листва широких крон финиковых пальм не пропускает его лучей. Наслаждаемся свежей ароматной прохладой и видом ярко-зеленой травы. Широкий, аршина в два с половиной, ручей выбивается из-под земли и, пробежав по ложбинке версты полторы, так же внезапно ныряет в пески, уходит глубоко под землю, чтобы где-то далеко снова заструиться по поверхности, оплодотворить сухие, горячие пески, оживить мертвую природу.

Оазис невелик. В нем всего шесть домов и придорожная, сейчас закрытая, чайхана. Жителей в селе не более сорока человек. Все они смуглы, стройны и приветливы. Они охотно угощают нас финиками и даже режут специально в честь Гамалия петуха. По словам Аветиса Аршаковича, это немалая жертва со стороны жителей. «Жертва» оказывается жесткой и слегка пережаренной. Тем не менее мы с удовольствием съедаем ее без остатка.

В поселке много нефти. Ею поливают кизяки, растапливают костры, ею лечат животных и смазывают для прочности высокие волосяные шатры. На мой вопрос, откуда берут ее арабы, один из жителей равнодушно махнул рукой в сторону пустыни:

— Ее там много в ямах!

— Приближаемся к местам, где полно нефтяных колодцев,— говорит Аветис и многозначительно добавляет: — Английская зона!

Покой села нарушен нашим неожиданным появлением. По улице снуют озабоченные люди. Накормить сто с лишним изголодавшихся коней и такое же количество здоровых, не страдающих отсутствием аппетита казаков — довольно трудная задача для крошечного оазиса.

Отовсюду ползут ослики, нагруженные корзинами с финиками, глиняными кувшинами с кислым молоком и круглыми пресными лепешками, испеченными на раскаленных гладких булыжниках. Хлебцы невкусны: без соли и слегка сыроваты, но мы неразборчивы и с удовольствием едим все, что дают.

Около нас организовался импровизированный рынок. Мальчишки торгуют круглыми белыми сырками и крепкой настойкой, приготовленной из финиковых косточек. Несмотря на запрещение покупать спиртное, весь запас настойки, оказавшийся в селе, переходит в казацкие фляги. Я тоже пробую ее. Сладковата, с привкусом миндаля и слегка напоминает греческий дузик.

— Микстура,— морщится Гамалий, что, однако, не мешает ему выпить полбаклаги этого зелья.

Химич благоденствует, то и дело прикладываясь к фляге. Хорошо еще, что настойка не настолько крепка, чтобы туманить головы привыкших к спирту и водке казаков. Аветис Аршакович бродит по селу со старшиной. Переводчику поручено добыть для нас фураж. Жители клянутся, что сена у них нет. На всю сотню привезено не больше двадцати пудов, а ведь у нас сто двадцать две лошади, считая с заводными и обозными.

Аветис Аршакович пытается соблазнить арабов золотом, но на этот раз без всякого успеха. Либо жители говорят правду и сена у них действительно нет, либо они боятся оставить свой скот без корма.

Купили огромного быка, и теперь кашевары готовят из него обед. У жителей добыты большие котлы, и под ними весело разгорается огонь. Женщины, вовсе не показывавшиеся раньше, теперь принялись за свои обычные занятия. Группами по две, по три с кувшинами в руках они спешат за водой, стараясь быстро прошмыгнуть мимо казаков, провожающих их любо-

пытными взглядами. Они смуглы, высоки ростом, быстры в движениях. Их белые покрывала не скрывают фигур. При виде нас они смущенно закрываются широкими рукавами.

— Чего рты пораскрывали, раззявы! — кричит на казаков вахмистр. — Баб, что ли, не видали, идолы!

«Идолы» неохотно отходят от ручья и, поминутно задерживаясь и оглядываясь, бредут к нашему расположению.

— Шкура гладкая, и побачить трошки не дал, яки таки бабы арапские, — ворчит Дерибаба.

— Таки ж, як вси, — под общий смех выпаливает Востриков.

— На чужой сторонке и старушка — божий дар, — резюмирует Карпенко.

Простота и добродушное веселье казаков успокаивают население оазиса. Уже происходят забавные сценки, когда те и другие пытаются о чем-то поговорить друг с другом.

Часто в воздухе слышится возглас: «Иэ уайлед!», с которым то к нам, то один к другому обращаются арабы.

— Что означают эти слова? — спрашиваю я Аветиса.

— «Молодой парень», — улыбаясь, говорит переводчик. — Так они называют каждого человека мужского пола от восьми до восьмидесяти лет.

— Вот это «парни»! — смеются казаки, а вездесущий Востриков мгновенно, по созвучью, уже применяет это восклицание.

— Эй, валет! — обращается он решительно ко всем арабам, приводя в восторг хлопающих его по плечу «парней».

— Тефад далу!¹ — приглашает нас старшина.

Мы идем к его дому, возле которого разведен большой костер. На нем в котле кипит и булькает вода. Возле дома высится леван (род каменного, обмазанного глиной помоста, нечто вроде балкона), с которого легко просматривается дорога и на котором вечерами собираются мужчины покурить трубки и повести долгие беседы перед сном.

Мы сидим в ханэ² старшины. У входа теснится молодежь. Пьем чай вместе с двумя стариками, благожелательно поглядывающими на нас.

За стеной слышится гортанная женская речь и доносятся звуки деревянной свирели, игрой на которой арабы тешат и развлекают казаков.

¹ Окажите нам милость (араб.).

² Сакля, домик.

— Этот день посещения бедных домов пришедшими изда- лека гостями-москочами будет записан в наших сердцах золо- тыми буквами памяти,— хотя и витиевато, но, кажется, искрен- не говорит старшина.

Старики с достоинством кланяются, повторяя «добро пожа- ловать».

Аветис Аршакович такой же цветистой фразой благодарит все население гостеприимного села.

Посидев с полчасца, мы возвращаемся обратно в сотню.

Зуев увлекается финиками, поедая их пригоршнями. Но вот готов и обед. Кашевары не посрамили своего реноме. Из жир- ного быка сварен вкусный борщ, приправленный сухими ово- щами и консервированным томатом. За ними следует рисовая каша с поджаренными кусками говядины. На третье — финики и холодная ключевая вода. Конечно, обед запивается остатка- ми настойки, которая еще сохранилась у наиболее предусмот- рительных казаков. Арабы не подходят к нам и лишь издали с любопытством следят за нашим пиршеством. Жара все усили- вается. Она дает себя знать даже в тени вековых пальм. Гама- лий делает какие-то записи и вновь внимательно изучает кар- ту. На всякий случай выверяю компас по пальме, над которой ночью светилась Полярная звезда. Затем мы с командиром раз- бираемся по карте в направлении пути, устанавливаем ориен- тирь и намечаем план дальнейшего похода. Почти вся сотня спит, и только неугомонный Зуев, сопровождаемый нескольки- ми мальчишками, бродит по оазису, осматривая его диковинки.

Сегодня уже двенадцать дней, как мы выступили в поход. Времени потратили много, а прошли всего чуть больше поло- вины пути. Через пять-шесть дней нас ожидают в долине Тиг- ра английские конные отряды. По равнине будут рыскать разъезды в поисках пропавшей сотни, а мы только выберемся к тому времени из этой знойной, раскаленной печи. Да и вы- беремся ли?

Несмотря на успех первой половины рейда, сомнения и страхи не покидают меня. Делюсь своими опасениями с Гама- лием.

— Вы совершенно правы. Только теперь для нас начина- ется самый опасный этап нашей экспедиции. Турки где-то по- близости. Они искали нас в Курдистане, теперь будут продол- жать свои поиски и здесь. Я уверен, что арабы отнесутся к нам дружелюбно. Турок они ненавидят, как своих поработителей.

А враг врага — всегда друг. Нас они должны встречать еще лучше, чем англичан. Они прекрасно понимают, что англичане «освобождают» их от турок только для того, чтобы превратить Месопотамию в британскую колонию и завладеть ее богатствами, особенно нефтью, которая, как вы видели, здесь сочится прямо из земли. Под оттоманским владычеством арабы имеют хоть какую-то автономию: до этих пустынь у Константинополя не достигала рука. А англичане превратят их в рабов, как индусов. О русских они знают, что мы не заримся на их страну.

Но арабы нам не защита. Чем может помочь нам такой оазис, если нас здесь застигнут турецкие сувары? Кроме того, турки могут натравить на нас кочевников пустыни, пользуясь их темнотой и фанатизмом. Как-никак мы гяуры, «неверные». Наши кони, оружие и золото — заманчивая добыча для них. Правда, отбиться от иррегулярной банды не такое уже сложное дело. Но весь вопрос в том, сохраним ли мы наших коней. Казак в поле да на коне не боится самого Сатаны. А вот, скажите, что мы будем делать, если падут кони? А ведь к этому идет. Утречком, пока вы спали, я обошел коновязи. Не дай бог, что делается с конями. Спины набиты почти у всех, ноги расслабли. На них не то что на врага идти, а и до дому не дойти.

— Иван Андреевич, да разве этого нельзя было предвидеть с самого начала? Ведь вы же сами знали, что было безумием посылать сотню в такой рейд. Только чудо может довести нас до англичан. Для этого надо, чтобы либо англичане перешли в наступление и приблизились к нам либо турки сами ушли отсюда. Ведь ясно: если где-то здесь стоят англичане, то перед ними должна быть турецкая завеса; следовательно, нам надо еще пробиваться через нее.

— Ни, голубь, чудес на войне не бывает. Англичане в наступление ради нас не пойдут. Их только что здорово поколотили на юге. Целых девять тысяч с самим генералом сдались в плен в Кут-эль-Амаре, даже не сделав серьезной попытки пробиться из окружения. У них свои правила войны. На позициях должно быть горячее кофе, брекфесты и разные ленчи. А как чуть что плохо, простой выход: сдавайся в плен! Зачем им рисковать своей шкурой? Они будут ждать, что мы, русские, перейдем в наступление и погоним турок. Вот тогда они со всем благоразумием и должной медлительностью вступят в бой и пожнут плоды наших побед. Не они и не чудеса спасут нас, а наша собственная храбрость и ловкость. Только нужно побольше хладнокровия и выдержки.

Я отлично знал, на что мы идем: на смерть, на поголовное истребление, в лучшем случае на плен. И тем не менее пошел. Пошел потому, что послали бы других, которым тоже хочется жить. Так пусть уж лучше мы испытаем свою судьбу, может быть, и выйдем победителями. Шансы все же у нас есть. И вы знаете, когда я поверил в возможность благополучного исхода нашей экспедиции? Тогда, когда к нам приехал господин Джеребьянц. Наше счастье, что с нами этот армянин. Вы себе не представляете, сколько пользы уже принес и еще принесет он! У него редкий талант сговариваться с туземцами, кто бы они ни были: курдские патриархи или простые кочевники. А особенно расположила меня к нему беседа — помните ее? — когда честно, откровенно и смело он рассказал нам тяготившие его мысли. Хороший, благородный человек.

Гамалий, помолчав, продолжает:

— Курдистан мы прошли благополучно. Горные проходы открыли золотым ключом. Теперь главную роль будут играть быстрота передвижения и решительность. Чем скорее мы пересечем пустыню, тем больше у нас будет шансов на успех. Но боюсь, что с нашими конями нас ждет катастрофа. Как бы то ни было, сегодня к вечеру выступаем в путь. Мы не можем медлить ни одного часа. Пусть даже половина коней падет на дороге, но к утру мы должны попасть в оазис Хамрин, — палец Гамалия показывает на маленький, обведенный карандашом кружок, — а затем скорее все дальше, вглубь, пока не пересечем наконец эту проклятую мышеловку и не выберемся к водам Тигра. Так-то!

Мы молча глядим друг другу в глаза, и только теперь я замечаю глубокую перемену в лице есаула. Оно сильно похудело. Глаза глубоко запали и остро поблескивают из глубины орбит, а в давно небритой, колючей щетине проглядывает неожиданная седина. Я опускаю глаза.

Казаки беспечно спят, отдыхая перед новым трудным испытанием.

Ночью я вышел из жилья. Было свежо. Луна ярко освещала величественную и как бы призрачную картину. Высокие кроны пальм, за ними — пустыня, казавшаяся закутанной в темно-фиолетовую прозрачную фату, сквозь которую едва очерченные волнистой линией угадывались холмы наносного песка. Мертвую тишину прерывали редкие голоса дневальных да мирное похрустывание жующих зерно коней.

В седьмом часу уходим из Сиди-Магомеда. Население провожает нас далеко за околицу села. Несколько конных арабов

гарцуют сбоку и версты четыре следуют за нами, всеми силами стараясь выказать нам свое расположение. Есаул щедро расплатился с гостеприимными хозяевами. При расставании обнаружилось, что оазис не так уж беден фуражом. Сено, которого мы так усиленно и тщетно добивались днем, теперь появилось в изобилии. Видя, как неоскудевающей рукой Гамалий рассыпает серебряные и золотые монеты, население оазиса стало таскать нам откуда-то из хижин большие охапки душистого сена. Старшина сконфуженно говорит:

— Если бы мы вчера знали, что московы такие хорошие люди, мы, безусловно, достали бы все, что требуется вам. Останьтесь еще на двое-трое суток, не пожалеете об этом,— чуть не со слезами уговаривает он.

— Вчера у его клочка не наплачешься, а теперь смотри какую вязанку приволок! — удивляется Пузанков, глядя на ползущую к нам пухлую копну, из-под которой еле видны голова и ноги согнувшегося араба.

— Ну погостите еще хоть день,— уговаривает Аветиса Аршаковича старшина.

Хотя село получило немалую выгоду от нашего кратковременного пребывания, но чувствуется, что старшиной руководят не только корыстные побуждения, но и искреннее желание поддержать традиционную славу арабского гостеприимства, тем более что добродушие и простота обращения русских солдат произвели на жителей сильное впечатление. Мы обещаем посетить село на обратном пути. Сопровождаемый сердечными напутствиями, наш отряд покидает Сиди-Магомед.

Снова пески... Двое арабов, белая своими бурнусами, едут с нами до Хамрина. Это провожатые, которых послал с нами старшина. Оба — молодец к молодцу. Они прекрасно сидят на своих маленьких норовистых иноходцах, красиво гарцуют по сторонам дороги и беспрестанно разговаривают. До сих пор у меня было представление об арабах как о крайне сдержанном, замкнутом и молчаливом народе, но эти двое опровергают мои книжные сведения. Ежесекундно окликают они нашего переводчика, чему-то заразительно смеются, сверкая белыми зубами и белками глаз, пытаются объясниться жестами с казаками. Аветису Аршаковичу стоило немалых усилий уговорить их взять за труды по десятирублевой золотой монете. Они долго отказывались от денег, заявляя, что сопровождать нас и показать нам дорогу — их долг.

Пустыня та же, что и вчера; но теперь мы следуем по слабо-очерченной в песках дороге и чувствуем себя относительно спокойнее. Мы убедились, что казавшаяся мертвой равнина обитаема и что на расстоянии тридцати пяти — сорока верст мы обязательно встретим новый оазис. Казаки повеселели. Вид цветущих садов Сиди-Магомеда успокоил их и разогнал мрачные мысли. Они ведут между собою тихие беседы и все время жуют финики, сплевывая по сторонам косточки. Прямо невероятно, какое количество этого сладкого чужеземного плода поедает мы в сыром, сушеном, тертом и жареном виде. Кони идут сегодня значительно бодрее: вероятно, им передается настроение казаков. Обоз опять отстает, едва мы переходим на рысь. Это, видимо, объясняется тем, что казакам уже не так страшно остаться позади. Вечер такой светлый и ясный, что мы еще видим далеко позади темные очертания Курдистанского хребта.

Вокруг нас расстилается скучная, однообразная, безжизненная равнина. Иногда вдали, дразня воображение, вырастают неясные и обманчивые миражи. Они появляются среди песков и увеличиваются до фантастических размеров, чтобы внезапно исчезнуть. Так далеко, насколько может окинуть взор, не видно ни жилища, ни человека, ни животного, ни деревца... Все голо, мертво, пустынно. Воображаю, что должен чувствовать в этих печальных местах одинокий, заброшенный путник.

— Марево, что ли, расписное? — удивляются казаки.

— Господи, и куда только судьба не закинет казаков! — вздыхает Востриков. — Вот вернусь домой, в станицу, стану бабам рассказывать — ни за что не поверят, скажут, брехня, одни балачки. Прямо интересно, вашбродь, как красками намалявано.

— Да ведь ты, Егорыч, небось приврешь с полкороба, — шутит Гамалий.

— Так точно, вашскобродь, это уж верно, беседа не без красного словца. Не могу без этого, такой уж у меня характер. Как с бабами сяду, так уж начну заливать!

— Да ты и с казаками такой же.

— Это уж верно, он такой, — слышится подтверждение из ближайших рядов.

— Да ему што! Врать — не мякину жевать. Ведь он врет, вашскобродь, людей не видит, бает, рассыпает, что снежком посыпает, — балагурят казаки.

Вострикова это задевает за живое:

— Ну да кто как врет-то. Один соврет — хоть кулаки суй, а другой сбредет — иглы не подбить. Врать-то, братцы мои,

тоже надо умеючи. Я вот совру — с девкой посплю, а вы поврите, да спать одни пойдете.

— Хо-хо-хо! И откуда у него, черта, слова берутся? — грохочут казаки.

Солнце еще не скрылось за горизонтом, и его косые длинные лучи слепят глаза. Но они уже не опаляют, как днем. От нечего делать внимательно рассматриваю почву. Иногда у самой дороги виднеется какая-то странная колючая трава, несколько оживляющая мертвый колорит песков. Спешиваюсь и срываю ее. Мой конь тоже тянется к траве, но, едва обмусолив ее, тотчас же выплевывает. Я пробую один из листков: горько и невкусно. Наблюдающий за мною Аветис Аршакович останавливает своего коня.

— Колоквинт. Особая разновидность колючки, которой питаются аравийские верблюды. Не советую брать ее в рот: горька, ядовита и вызывает сильное истечение слюны. Только железные желудки верблюдов переносят эту гадость.

Мы догоняем ушедшую вперед сотню. Один из проводников внезапно передает другому повод своего коня и бежит в сторону от дороги по песчаным кочкам. Став на колени и широко распахнув бурнус, он долго копается в песке.

Его поведение интригует нас. Но вот он как будто что-то нашел. Издавая веселые гортанные звуки, он возвращается, держа в руке крошечную серую ящерицу. Это лишь жалкое подобие наших грациозных, юрких ящериц. Она худа, сморщенная и кажется высохшей. Но все же ее вид развлекает людей. Ящерица переходит из рук в руки, и каждый казак делает по поводу нее какое-нибудь замечание. Гамалий спешивает сотню, и мы идем, ведя коней в поводу. В этот момент второй проводник, видимо завидуя успеху первого, в свою очередь роется в песке и долго гоняется за каким-то невидимым нам существом. Аветис Аршакович спрашивает араба о предмете его охоты.

— Джербоа! — кричит араб.

Оказывается, в этих мертвых песках кроме плюгавой ящерицы обитает еще одно живое существо — полевая крыса джербоа, неизвестно чем питающаяся.

Видя мое изумление, Аветис Аршакович снисходительно посмеивается:

— А вы полагали, что пустыня действительно необитаема? Да тут водится пропасть всякой твари: змей, скорпионов, тарантулов и других гадов. В этих песках для них сущий рай. А порой здесь можно встретить и стадо джейранов. Они ведь

пробегают за сутки верст по сто, а инстинкт помогает им найти воду. Вас вот ужасает пустыня, а кочевые арабы ее не променяют ни на какую другую землю.

Я окидываю взором безнадежно унылую равнину. Мой собеседник, вероятно, прав, но я лично не могу понять, за что можно любить это дышащее смертью пекло.

Только что лишились двух коней. Они повалились на песок, и никакие понукания и удары не в состоянии заставить их подняться. Больно смотреть в их измученные, полные тоски глаза. Ехавшие на них казаки молчат, но по их лицам видно, как тяжело переживают они утрату. Остановили сотню, расседлали лежащих коней, посадили обоих казаков на заручных и вновь двинулись в путь.

— Если не подохнут или не загрызут шакалы, наши арабы захватят их на обратном пути,— говорит Аветис.

Действительно, проводники долго еще оборачиваются и поглядывают на темнеющие на дороге черные бугры, о чем-то переговариваясь между собою.

— Вы даже не представляете себе, как арабы любят и ценят лошадей,— обращаясь ко мне, говорит Аветис.— Привязанностью к этому благородному животному охвачены решительно все: и простой народ, и адтаунд, то есть благородные по своему рождению люди...

— Просто говоря, правители и военачальники кланов,— вмешивается Гамалий.

— Да, но и простой народ, и даже женщины, дети. Недаром арабские поэты воспевают лошадей и, когда хотят похвалить своих возлюбленных, говорят: «Верна, как конь», «Глаза как у кровного жеребенка».

— За такую любовь я от души желаю, чтобы, возвращаясь обратно, эти два молодца забрали себе наших брошенных коней,— говорит Гамалий.

Его кавалерийскому сердцу становится легче при мысли, что оставшие кони могут попасть в надежные руки прирожденных наездников.

Казаки примолкли. Потеря коней вновь напомнила о подстерегающих нас бедах и опасностях.

Сумерки быстро сгущаются. Часам к десяти показываются отдельные чахлые, низкорослые деревца — верный признак близости воды. Наши проводники смолкли и обратились к Аветису Аршаковичу с просьбой о том, чтобы сотня двигалась

бесшумно, так как у источника могут быть арабы из враждебного им племени. Но шедший впереди разъезд не обнаружил присутствия каких-либо живых существ. Кругом безлюдно и безмолвно. Немошная луна тускло освещает песчаные склоны и каменистое русло высохшего ручейка. У его берега стоит полуразвалившаяся, с осыпавшимися стенами, хижина, по-видимому давно уже покинутая обитателями.

Находим несколько неглубоких колодцев. Одни из них наполовину завалены камнями, в других поблескивают остатки грязной солоноватой воды. Около них растут какие-то колючие деревья. Напоив коней и немного отдохнув на этой неприветливой стоянке, отправляемся дальше.

Вскоре вышли из строя еще несколько коней. Они окончательно выбились из сил и не состоянии двинуться с места.

— Теперь скоро, всего один фарсаг¹, — успокаивают проводники.

Но этот «фарсаг» нам придется идти не менее полутора часов: настолько обезножели и измучились наши кони. Оставляем с отставшими охрану в двенадцать человек и одного из проводников, а сами продолжаем путь. Луна прячется за облака, и становится темно. Вновь возникают фантастические образы, пугая воображение. Но вот возвращается казак от идущего впереди разъезда и сообщает, что видны огни. Это, несомненно, оазис.

Теперь его могут уже разглядеть и наши привыкшие к темноте глаза. Судя по длинным контурам садов и сереющим там и тут домам, оазис Хамрин значительно больше Сиди-Магомеда. Несколько минут совещаемся, затем я и Аветис Аршакович едем вперед и вместе с разъездом осторожно вступаем в село. На улицах ни души. Ставлю караулы у выезда в степь и сейчас же возвращаюсь назад. Теперь по всему селу заливаются псы. Конский топот и собачий лай поднимают на ноги все население. Как и в Сиди-Магомеде, один за другим зажигаются огоньки, перепуганные жители выскакивают из домов и тотчас же прячутся обратно. Сотня в порядке входит в село. Аветис Аршакович и проводник мечутся туда и сюда и буквально во всю глотку орут, предупреждая жителей, что мы пришли с самыми мирными намерениями и просим лишь о гостеприимстве. По немногу улица наполняется народом. Нас спрашивают, кто мы, куда идем и зачем прибыли в оазис.

¹ Семь верст.

Ограничиваемся ответом, что мы русские, идем вперед и не собираемся чинить каких-либо обид населению. Для внушительности Аветис сообщает, что мы передовая часть, за которой движется целый корпус. Разговор длится еще несколько минут, затем нам отводят место для ночевки на самой площади, у большого колодца, и тотчас же организуют наше снабжение фуражом и продовольствием. Несмотря на явно радушную встречу, меня все же берет сомнение, когда я посматриваю на десятизарядные английские винтовки Ли Энфильда в руках многих арабов. Гамалий дает еще один золотой проводнику, который не знает, как выразить свою благодарность щедрым русским. Он дожидается лишь своего товарища, чтобы пуститься в обратный путь.

Сотня занята устройством на ночлег. Кое-где уже пылают костры и закипает чай. Некоторые казаки наскоро жуют сухари, запивая их холодной водой. Кони разгружены от переметных сум и тороков. На ночь попеременно, пополусотенно, будем расседлывать их. Усталые, они стоят как вкопанные, даже не жуют ячмень, насыпанный в привешенные к мордам торбы.

Мало-помалу подъезжают остальные. Бросили еще одного коня. За сегодняшний переход это уже третий. Печально. Зусев спит как убитый. Бедный юноша, несомненно, страдает от усталости больше других, хотя и тщательно скрывает это.

Все мы вполне взрослые люди, воюем уже третий год, получили достаточно крепкую закалку, а он ведь почти подросток. Всего два месяца, как он вступил прямо в полк и еще не успел втянуться в тяжелую походную жизнь. Он сильно похудел, лицо его потемнело и вытянулось, глаза приобрели лихорадочный блеск. Обычно веселый и жизнерадостный, он потух и поблек после смерти Трохименко. Прапорщик лежит на соломе, съежившись калачиком, и тяжело дышит. Голова его сползла с папахи, служащей ему подушкой. Он морщится во сне и что-то бессвязно бормочет. Очевидно, его тревожит свет пылающего вблизи костра. Я осторожно прикрываю платком его лицо. Гамалий кивает головой в сторону спящего и негромко говорит:

— Умаялся, сердешный. Хороший хлопец. Дай ему бог здоровья.

Химич сегодня в карауле. Село велико, и поэтому необходимо принять серьезные меры предосторожности. Понемногу ка-

заки затихают. Потухают костры, грузно ложатся на отдых кони, и мерно похрапывают спящие люди. Ночь. Луна бродит между ветвями окружающих нас деревьев и глядит на наш привал сквозь широкие резные листья пальм. Неугомонившиеся собаки все еще ворчат и лают где-то на окраине села.

В домах один за другим гаснут огоньки.

Трах! трах! трах! та-ра-ра!.. — разрывают тишину винтовочные выстрелы.

Мгновенно просыпаюсь. На площади кутерьма. Мечутся и ржут перепуганные кони, щелкают затворами винтовок осоловелые от сна казаки, и зычный голос Гамалия, перекрывая общий шум и суматоху, разносится далеко по селу:

— По коням! Дежурная полусотня, карьером к постам марш!

Я вскакиваю на неведомо откуда появившегося коня и впереди полусотни скачу к постам, откуда только что трещали выстрелы. Мимо нас проносится казак с донесением. Новых выстрелов не слышно. У заставы нас встречает Химич.

— В чем дело?

— А вот... убили одного! Тикать куда-то хотел, — равнодушно говорит прапорщик, указывая концом сапога на вытянутое у его ног неподвижное тело.

Только теперь я вижу убитого человека. Казаки окружают меня.

— Сидим в карауле. Глядь — из-за деревьев двое конных. Мы, конечно, окрикнули. Они — ходу. Мы — залп. Один убег, ускакал, а вот этого убили, — докладывает Карпенко.

Обыскиваем убитого, но не находим ничего особенного. Широкий белый бурнус, на ремне десятизарядная английская винтовка, на груди патронташ, в карманах трубка и кисет.

— Вашбродь, командир едут.

На темной улице показываются конные. Подъезжает Гамалий. Выслушав рапорт Химича, он недовольно качает головой:

— Скверно, очень скверно. Не надо было упускать. Надо было пристрелить обоих.

Из деревни сбегаются перепуганные, встревоженные люди. Старшина просит разрешения отдать труп родным.

— Ошибка. По неосторожности молодые парни попали под выстрел, — уверяет он. — Они ехали в соседнее село по делам.

Возвращаемся на площадь. Приказываю подтянуть обоз. Гамалий быстро расплачивается со старшиной и, наняв двух проводников, командует сотне приготовиться к выступлению.

Чуть брезжит рассвет, одна за другой бледнеют и гаснут звезды, серая мгла еще висит над пустыней. Хочется спать, но надо двигаться, двигаться во что бы то ни стало.

— Мы не можем медлить ни одной секунды. Надо сейчас же уходить отсюда,— говорит Гамалий и командует: — Са-адись! Шагом ма-арш!

Усталые, сонные люди покорно взбираются на коней. Через минуту сотня покидает оазис. Неистовый собачий концерт долго еще несется нам вслед.

По серой, унылой равнине тянется жидкой цепочкой расстроенная конная колонна, то и дело останавливающаяся и поджидающая отставших. Впереди кое-как шагают еще сохранившие силы кони, а сзади еле плетутся, подгоняемые криками, бранью и плетями, шатающиеся, изможденные одры. Еще далее, среди песков, одиноко чернеют четыре расседланные брошенные лошади. Их маленькие породистые головы тянутся нам вслед, а полные отчаяния умные глаза не отрываются от уходящей колонны. Высоко над ними кружит пара серых больших птиц, предвкушающих обильное пиршество.

Утром безжизненная степь кажется еще суровее. Неприветливо смотрят бесконечные желто-серые пески, изборожденные застывшими волнами невысоких, уходящих на юг дюн. Однообразие, тоска. Невыносимо жжет поднимающееся все выше над горизонтом солнце. Впереди манят своими коварными обманами призрачные миражи: повисшие вершинами вниз пальмы, перевернутые цветные купола и контуры сказочных дворцов. Почти весь переход совершаем пешком: кони сами едва держатся на ногах.

Угрюмое настроение не покидает Гамалия.

— Медленно, слишком медленно двигаемся. А надо спешить. Убежден, что удравший от нас араб поднял переполох в соседних оазисах. Весть в этих песках разносится с быстротой молнии, и через несколько дней нас окружают турецкие войска. Погано.

Шагающий рядом с нами Джеребьянц сообщает командиру, что по сведениям, полученным им от жителей Хамрина, турок поблизости нет. Но по пустыне бродят шайки Мамалек бен-

Измаила и Наибус-Салтане, вооруженные турками для действий против англичан и руководимые немецкими инструкторами. Час от часу не легче. Новости неутешительные, ибо у этих головорезов кони свежи, а наши превратились в замученных одров.

Организуем экстренный совет.

Как быть? Идти ли в следующий оазис — Купет, как мы раньше предполагали, где, несомненно, уже ждут нас предупреденные беглецом вражеские отряды, или обогнуть этот пункт и выйти севернее — в небольшой поселок Али-Абдаллах, где и заночевать, заперев выходы постами. Конечно, второй план безопаснее, но он удлиняет наш и без того страдный путь минимум на три часа. А дойдем ли мы с этими жалкими, еле влачащими ноги подобиями коней? Вызываем вахмистра и долго совещаемся, наконец решаем сообща: идти на Али-Абдаллах. Лучше погубить коней, чем понапрасну рисковать живой силой.

— Надо во что бы то ни стало избежать столкновения с врагом. Уклонимся в сторону, по пути станем закупать коней, а не будут продавать — возьмем силой, церемониться нечего. Таковы суровые законы войны. На ставку поставлено все, — говорит Гамалий.

В критические минуты он проявляет железную, нестигаемую волю, и это успокаивающе действует на всех. «С таким не пропадешь!» — думает каждый про себя.

Объявляем об изменении маршрута проводникам. Оба араба удивлены и выражают недовольство. Они пытаются убедить Аветиса Аршаковича в том, что до Али-Абдаллаха очень далеко, что поселок мал, не сможет разместить и накормить всю сотню. Но им кратко и твердо приказывают вести нас, куда сказано. Мы резко меняем направление, сворачиваем с дороги и бредем по сыпучим, вязким пескам вправо. Ныряем в песчаные ложбинки, взбираемся на дюны, снова сползаем вниз — и так без конца. Безотрадная картина. Идти все труднее, напрягаем последние силы. Сзади несутся проклятья и свирепая брань. Это казаки отводят душу на ни в чем не повинных животных. Число безлошадных растет. Бросили в песках еще трех коней. Уже больше не остается заручных коней. Отстающие тормозят движение и задерживают остальных. Наконец выбираемся на какую-то едва заметную тропу. Проводники почти все время идут пешком. Они то и дело с тревогой поглядывают на небо, озабоченно переговариваясь между собой.

— Дорогу, что ли, потеряли? — беспокоится Гамалий.

— Хуже, дорогой Иван Андреевич, — объясняет Аветис, и в его голосе звучит беспокойство. — Надо спешить. Надвигается песчаная буря. Самум! Нам во что бы то ни стало нужно быстрее добраться до жилья.

Еще этого не хватало! Казаки, не подозревая о новой грозящей опасности, понуро бредут по тропе. Лица их покорно-равнодушны, смертельная усталость сковывает мысли. Обильный пот струится по щекам. Палящий зной мучительно обжигает безжизненных, апатичных людей. Кони еще понурее хозяев. Вялые, поблекшие глаза, отвисшие губы, машинально передвигающиеся ноги. Вот все, что осталось от недавно славной, веселой сотни 1-го «непобедимого» Уманского полка. «Непобедимого»... Какая злая ирония! Укатали Сивку крутые горки. И вот по сыпучим пескам бредут разрозненные, жалкие остатки. А впереди — самум, палящая смерть.

Я содрогаюсь при одной мысли быть заживо засыпанным раскаленным песком и задохнуться от недостатка воздуха в огненном пекле. За что, за какие смертные грехи бросили нас сюда на погибель? Нас, сто с лишним русских людей, так бессмысленно и не нужно погибающих здесь. И в сознании вырисовываются горькая усмешка Сухорука и его звучащие упрямом слова: «Почему мы к ним, а не они к нам? Видать, им своих-то жалче!»

В голове проносится мысль: «А что они сейчас делают, англичане? Их многочисленная армия? Сидят в тенистых рощах вдоль Тигра и поглядывают в бинокли — не показались ли русские казаки».

Мои размышления прерывает голос есаула:

— Санитары, обоз и все, кто на хороших конях, вперед!

Казаки послушно выполняют приказание. Мы перестраиваемся.

— Сотник! — обращается ко мне Гамалий. — Берите здоровых людей и на конях ведите их как можно быстрее в Али-Абдаллах. Немного спустя мы нагоним вас.

— Господин есаул! Я попросил бы разрешить остаться с вами, а полусотню отправить с младшими офицерами.

По взгляду Гамалия я чувствую, как он тронут. Его лицо озаряется доброй, признательной улыбкой:

— Добре! Прапорщик Химич, ведите полусотню.

Большая часть колонны отрывается от нас и, бороздя песок, уходит вперед. Аветис Аршакович вопросительно смотрит на нас.

— И вы, господин переводчик. К чему бесцельные жертвы! Аветис Аршакович на рыси догоняет ушедшую полусотню.

В песках остаемся мы, до пятидесяти полубольных людей, тянущих в поводу шатающихся, еле передвигающих ноги коней. Одного из проводников оставили с собой, другого взял Химич. Солнце нещадно палит. Кажется, будто оно остановилось неподвижно на небе. Счет времени потерян, и нам представляется, что мы бредем так не часы, а вечность. Зной лишает последних сил. Воздух навис прозрачной, неподвижной кисеей, но эта прозрачность какая-то обманчивая и угнетающая. Нестерпимая тоска и обреченность томят мозг.

Изредка песок сменяется белесыми солончаковыми лоскутами земли, слепящими глаза. Кони тяжело храпят, медленно переставляя больные ноги. За высокой грядой косых дюн исчезают ушедшие вперед казаки. Кто-то на мгновение задерживается на гребне и машет нам папашой. По серой породистой кобыле узнаю Зуева. Через секунду и он скрывается из виду. Одни... Я смотрю на араба, не отрывающего испуганного взора от безоблачного неба. Что он там видит страшного? На минуту его глаза встречаются с моими, и мне чудится в них покорная обреченность. Он часто приближается к командиру и знаками умоляет его спешить. Но мы и так делаем все возможное. Понукания и плети не действуют больше на коней. Солнце жжет нас острыми зенитными лучами и вдруг стремительно катится к западу, оставляя за собой немеркнувший кроваво-желтый свет.

Ползем по пескам. Минуты медленно уходят в вечность. В голове нет больше мыслей, даже страх оставил нас — так мучительны зной, жажда и усталость. Бредем, как автоматы, среди безжизненного песчаного моря, взборожденного волнами дюн. Один мираж сменяется другим, и воображение дразнит неясные очертания близких оазисов. Казаки задыхаются. Едкая пыль попадает в глаза, щекочет горло. Я стараюсь не встречаться взглядом с несчастными, обессиленными людьми. Гамалий едет в конце колонны, подгоняя отстающих. Если бы не он, может быть, не один казак лег бы на песок, чтобы уже больше не встать.

— Вашбродь, разрешите на минуту сделать привал. Людям невмочь. Хоть бы водички попить, — шепчет пересохшими, рас трескавшимися губами Никитин, появляясь рядом со мною.

Я не отвечаю. Обычно почтительный и приветливый, вахмистр смотрит на меня недружелюбно и молча отъезжает.

Дорога поднимается вверх. Бью нагайкой Орла и взбираюсь на вершину дюны, откуда должен быть виден Али-Абдаллах. Внизу, саженьях в двухстах от меня, зеленеет крошечный оазис с немногочисленными пестрыми шатрами. Между ними снуют люди. Полусотня спешила и стоит вблизи источника в ожидании нас.

Скачу назад и сообщаю казакам:

— До стоянки не более полуверсты.

Недоверчивые, злые глаза смотрят на меня почти с ненавистью. Но уже слышен собачий лай и тянет горьковатым дымком горящего кизяка. Вскарабкиваемся на пригорок, и люди разом оживляются. Они воочию убедились, что стоянка близко. Вдох облегчения, как ветерок, пробегает по колонне. Ободренные кони неожиданно прибавляют шаг и мелкой рысцой трусят к шатрам. Мы ясно видим, как несколько арабов спешат крепче обвязать вокруг стволов пальм веревки шатров, а женщины и дети с криками загоняют в деревеньку скот.

Мы находимся уже не более чем в ста саженьях от окраины оазиса, когда горизонт внезапно тускнеет, с калейдоскопической быстротой он меняет свои краски, от багровой до серой, и наконец принимает мрачно-фиолетовый цвет. В пустыне разливается густая мгла. Небо совсем темнеет, и только в зените повис лишенный блеска и лучей оранжевый диск солнца. На нас быстро надвигается желтая завеса, разбивающаяся на отдельные крутящиеся вихрями столбы. Неожиданно оживает безмолвная до тех пор пустыня, наполняясь ревом и свистом. Резкие порывы ветра охватывают нас, почти валя с ног, больно хлещут струями песка. Удушье сжимает горло.

Я окликаю проводника, пальцами показывая на волнующийся песок. Но араб лишь плотнее укутывает лицо плащом и, пригибаясь к шее коня, яростно понукает его. Его беспокойство передается казакам. Они кутаются в башлыки и непрерывно стегают лошадей, которые вертятся, останавливаются на рыси, пытаются лечь.

— Если доедем до шатров — спасены, — сквозь вой ветра доносится до меня голос Гамалия.

Делаем последние усилия. Ветер переходит в ураган. Песок сплошной стеной несется через нас, засоряя глаза, забивая рот. Огромные волны песка заходили, задвигались по пустыне, как будто вокруг нас разыгралась водяная стихия. Зной так жгуч, что кажется, сам ад поднялся из преисподней и хлынул на нас.

Никогда раньше я не представлял себе, что может быть так трудно сделать верхом каких-нибудь десятков саженой.

Самум охватил пустыню.

В ту же секунду наши измученные кони дотягиваются до шатров и падают на колени, пряча морды под шею друг другу.

Полумертвые от истощения и жары, мы пластом лежим внутри шатров, замотав головы башлыками. Возле нас ничком лежат хозяева-арабы, и только ветер и песок со свистом и шумом проносятся над нами, ударяя в натянутые, вздувшиеся, как парус, стенки шатра...

Внезапно ветер стихает. Воздух сразу приобретает прежнюю неподвижность, и состояние забытья, полуобморочной дремы охватывает нас. Так проходит несколько минут. Затем стены шатра слабо трепещут от возвратившихся порывов ветра, и жар начинает быстро спадать.

Самум проходит. Ветер несет теперь прохладу и бодрит своей свежестью. Над землей все еще стоит песчаная мгла, но небо быстро светлеет и проясняется. Горизонт опять чист, и солнце вновь жжет своими лучами пустыню. Только новые гряды дюн, выросшие буквально за полчаса, говорят о том, что здесь недавно пронесся страшный самум-бадех¹. Где-то вдалеке, на юге, куда умчался палящий вихрь, еще стоит мгlistая, начинающая редеть целена.

Я поднимаю голову. Несколько казаков пластом лежат около меня. По бледности лиц, по которым струится пот, их можно принять за тяжелобольных. Медленно встаю и, еще чувствуя слабость и звон в ушах, выхожу из шатра. Словно мертвые, без движения лежат на песке кони, вытянув вперед свои головы.

Оазис оживает. Между шатрами толпятся казаки. Белеют бурнусы арабов. Звучит непонятная гортанная речь.

— Вахмистр, устроить перекличку, все ли в сборе! — выходя из палатки, приказывает Гамалий.

Лицо есаула посерело и говорит о пережитых страданиях, глаза слезятся, губы потрескались и покрылись сетью красных кровотокающих нитей. Впрочем, то же самое и у меня, и у большинства из застигнутых самумом казаков. Из шатров выползают полубольные, еще не пришедшие в себя люди.

¹ Опаляющий (араб.).

— Прапорщик Зуев, берите с собой дежурный взвод и скачите немедленно по дороге. Осмотрите места, пройденные полусотней, и, если найдете оставших людей и коней, забирайте и сейчас же возвращайтесь обратно.

Зуев садится на коня и в сопровождении взвода из ранее пришедшей полусотни едет за село. Никитин обегает шатры, проверяя по списку лежащих и ослабевших казаков.

— Так что, вашскобродь,— докладывает он,— люди все в целости, до одного. Только в бурану шестеро побросали коней и спаслись пешаком. Дудка, Панасюк, Коваль, Дерибаба, Стеценко и Пузанков,— перечисляет он.

Оказывается, мой Пузанков тоже остался в числе безлошадных. Я ищу его, но моего верного «Личарда» нет; по всей вероятности, он еще отлеживается в одном из шатров.

— Еще, вашскобродь, коня одного потеряли. Оторвался с недоуздка — и шасть в пески, лег и ни с места. Ну уж тут, конечно, не казачья вина. Разве до него! Каждый сам о своей душе понимает,— продолжает перечислять наши беды вахмистр.

Гамалий молча покусывает губу. Это значит, что настроение его не из веселых. Потерять в один переход одиннадцать лошадей — более чем трагично. Я пытаюсь успокоить его:

— Иван Андреевич, я думаю, что Зуев приведет оставших коней, вряд ли им что-нибудь сделается.

Гамалий смотрит невидящим взглядом и, как бы отвечая не мне, а на собственные мысли, глухо говорит:

— Все равно, если б даже и нашлись, для рейда они уже не годны.— И, обращаясь к вахмистру: — Фельдшерам — осмотреть больных. Кашеварам — сейчас же приняться за изготовку горячего обеда. Выставить вдоль дороги караулы с пулеметами и никого не выпускать из села. Подсчитать количество больных и здоровых коней. Второй полусотне — расседлать коней. Выйдем не раньше полуночи. Есть у тебя, Лукьян, еще что-либо?

— Так точно, есть! — смущенно, но с затаенной надеждой говорит вахмистр.— Хлопцы просят хочь ночь дать передохнуть. Невмоготу, никак не в силах. Все, ровно как больные, качаются.

— Нельзя. Сегодня в полночь выступаем,— резко перебивает Гамалий.— К ночи приготовиться в поход!

Вахмистр не произносит больше ни слова и, сделав налево кругом, исчезает за шатрами. Вокруг нашей стоянки собираются несколько десятков обитателей оазиса, с детским любопыт-

ством разглядывая казаков. Откуда-то появляется Аветис Аршакович, уже успевший вступить в переговоры с местными властями.

— Господа, старшина просит вас пожаловать к себе в шатер. Гамалий отмахивается и сухо бросает:

— После, сейчас не до церемоний.

Джеребьянц возвращается к старшине. Я не прочь бы последовать за ним, предвидя, что в шатре, вероятно, уже приготовлено какое-нибудь, хотя бы и скромное, угощение, но ожидаю, пока Гамалий не выскажет мне своих соображений относительно дальнейшего похода. Есаул сидит задумавшись. Наконец он поднимает глаза и спокойным тоном говорит:

— Для меня ясно, что сегодня обязательно необходимо уйти из этого оазиса. Я уверен, что о нашем прибытии сюда уже пронюхали. В пустыне есть свой беспроволочный телеграф, и работает он не хуже наших. Если мы будем здесь прохлаждаться, нас завтра же настигнет банда Мамалека бен-Измаила или другого турецкого наймита. Выход только один: слабых и больных коней оставим в Али-Абдаллахе, взамен купим или реквизируем у жителей новых, пополним запасы воды, провианта и фуража, а ночью — в путь. Больных людей поместим на носилки, но задерживаться не будем ни минуты. Вы с этим согласны?

— Да, это наш единственный шанс на спасение.

— Значит, решено! Ну а теперь можно и к старшине.

Шатер старшины такой же, как и те, в которых живут другие обитатели оазиса, но значительно просторнее. Он из грубого серого с полосами верблюжьего войлока, перетянутого на куполе крест-накрест двумя толстыми ремнями. У входа нас почтительно ожидает хозяин, смущенный нашим промедлением. Рядом с ним стоит повеселевший Джеребьянц. Входим в шатер. Он довольно вместителен. Перегородка из плотной черной ткани делит его на две половины: мужскую, где помещается оружие, седла и груда верблюжьих попон, и женскую, в которой в относительном порядке размещены мешки с провизией, домашняя утварь, медные тазы, ручные жернова, жаровня, деревянная ступа для кофе, бурдюки с водой и молоком. Тут же под ногами хозяев вертится пара маленьких, только что родившихся жеребят и слабосильный верблюжонок. Полдюжины совершенно голых ребятишек, засунув в рот грязные пальцы, со страхом и любопытством смотрят на нас. Их вместе с жеребятами и верблюжонком моментально изгоняют из шатра, что не мешает, однако, им то и дело возвращаться обратно. У стены

стоят три арабки, очевидно жены старшины, почтительно склонившие головы при нашем появлении.

Меня поражает, что женщины здесь не прячутся при виде мужчин, как мы привыкли к этому в Персии. Но Джеребьянц разъясняет мне, что женщины арабских кочевников пользуются неслыханными на Востоке свободами. Они не закрывают лицо чадрой, не избегают встреч и бесед с мужчинами и имеют большое влияние на дела семьи и даже целого рода. Действительно, хозяйки шатра, ничуть не смущаясь нашим присутствием, спокойно и деловито принялись за приготовление угощения. Я с любопытством рассматриваю их. Лица их смуглы, худы и резко очерчены, но не лишены привлекательности. Одежда на них походит на мужскую и отличается лишь обилием украшений. На голове, шее и руках позванивают серебряные монеты.

Мы садимся посреди шатра на грязных подушках. Возле каждого из нас стоят деревянные чаши с кислым молоком и довольно приятным холодным отваром из перебродившего сока финиковой пальмы.

Старшина берет обеими руками свою чашу и, торжественно кланяясь в нашу сторону, негромко произносит:

— Хена!

— За ваше здоровье! — переводит Аветис.

Мы пьем холодный отвар, мешая его с тягучим кисловатым молоком. Старшина что-то длинно говорит.

— Он поздравляет вас с прибытием и избавлением от смертельной опасности, которой вам грозил самум. По его словам, о нашем появлении в пустыне он знал еще вчера, но никак не предполагал, что мы прибудем к ним, иначе бы приготовил нам царское угощение.

Мы переглядываемся с Гамалием. Истинно, пустыня не знает тайн.

— А не может ли он просто-напросто пока, до обеда, напоить и накормить казаков кислым молоком? — спрашивает есаул.

— Уже сделано. Иван Андреевич, мы заготовили для сотни молоко и зарезали молодую верблюдицу, — сообщает поистине незаменимый Аветис.

Верблюдицу! Это ново. Но что же делать, если здесь другой говядины на стол не подают. Разговор продолжается. Из него выясняем, что проскочивший мимо нашего поста всадник уже успел предупредить о нас Мамалека. Но тот, не рискуя напасть

на нас один, послал за помощью к другим вождям. Турок поблизости нет, хотя не так давно два эскадрона сувари зачем-то бродили недалеко от Хамрина и, переночевав в Али-Абдаллахе, ушли обратно в Каср-и-Тепе. Для нас ясно, что противник, осведомленный о нашем рейде, ищет нас по всем направлениям, в частности и в этих глухих дебрях. По словам старшины, лишь два дневных перехода отделяют нас от зеленой зоны, лежащей между Тигром и его многоводным притоком Шат-эль-Этхемом. Рядом со старшиной сидят два пожилых степенных араба, важно покуривающих свои нескончаемые трубки и ежесекундно кивками головы подтверждающих слова старшины. У входа толпятся и заглядывают внутрь более молодые обитатели кочевья, вполголоса перебрасываясь между собой фразами, очевидно, на наш счет.

Женщины заканчивают приготовления к пиршеству. Куски верблюжатины брошены немытыми и нечищеными в кипящий котел и уже сварились. На поверхности воды плавают пятна жира. Никаких приправ к блюду нет.

Все это мало аппетитно, но «дипломатия» требует, чтобы мы подавили брезгливость и показали хозяевам, как мы ценим их гостеприимство. Наши казаки счастливее нас: в этот момент они уже, наверно, насыщаются более съедобным, чисто приготовленным обедом, сдобренным всякими специями. Женщины опускают в деревянную чашку куски разварившегося мяса, извлекая его из котла длинными заостренными палками. Темная соль ставится рядом с чашкой, и мы приступаем к еде. Старшина делает приветственный жест и, вынув из чаши грязными перстами большой дымящийся кусок мяса, сует его в руки Гамалия. Затем наступает и моя очередь. И только Аветис, знающий местный ритуал, сам вытягивает себе кусок мяса. Старшина пытается разодрать для нас пальцами горячие куски верблюжатины. Гамалий спешит предупредить его и, вынув ножик, разрезает им мясо. Завеса шатра распахивается. Входят Зуев и Никитин.

— Ну, как дела?

— Привел двух полудохлых коней. Нашел один полузасыпанный конский труп. Об остальных ни слуху ни духу. Прямо жуть берет, Иван Андреевич, как эта проклятая буря перевернула все. Там, где была дорога, теперь лежат целые горы песку, а за ними овражки спускаются. Прямо не узнать. Хорошо, что никто из казаков не отстал. Не ушел бы от смерти, и костей бы не сыскали.

— Благодарю вас. Садитесь с нами подзакусить. Ну а ты что скажешь, Лукьян?

— Плохо, ваше высокоблагородие. Кони совсем подыхают, ни одного здорового нет в сотне, все больны. Люди тоже многие лежат как колоды, иные до ветру встать не могут. К обеду половины казаков не дозвался.

— И все же сегодня обязательно в путь! Передай казакам, что через два дня выйдем из этой пустыни к реке, за которой и встретимся с англичанами.

— Слушаю-с! Как прикажете! — покорно отвечает Никитин и еще тише говорит: — Придется бросить шестнадцать коней. Хоть убить. Одно слово — калеки.

— Тем, кто остался без коня, объяви, что сегодня их посадим кого на коня, а кому коней не хватит — на верблюдов.

Несмотря на трагичность положения и деловой характер беседы, не можем удержаться от смеха. Никитин недоверчиво улыбается, прикрывая рукавом рот:

— Как же так, вашскобродь?

— А так! Не пешком же идти. А в здешних местах верблюды еще лучше коней служат.

— Да мы к ним не привышны. Не приучены казаки с ними обходиться.

— Привыкнут. Казак и черта оседлает.

— Чижало будет, вашскобродь.

— Ничего. Чем тяжелее русскому, тем он злее. Ну, дальше что? Есть больные?

— Так точно! Новых пять человек, да опять же раненые.

— Кто не в силах двигаться — на походные носилки! Все?

— Так точно!

— Ну, добре! Иди, голубь, до казаков. А вы, Аветис Аршакович, передайте старшине, что я закупаю у него всех имеющихся в селе крепких коней и верховых верблюдов. За ценою не постою и уплачу тотчас же золотом.

Аветис переводит. По лицу старшины видно, как он смущен. Женщины теряют выдержку и начинают волноваться. Беспокойство передается толпящимся у входа людям. Раздаются резкие голоса, переходящие в крики.

— Они не хотят, отказываются. Объясняют, что без лошадей и верблюдов они пропадут, — резюмирует Аветис.

В старшине борются два чувства. Отказывать в просьбе гостю — значит нарушать святой обычай гостеприимства. Но, с другой стороны, он видит, что его подопечные явно настроены

против продажи. Он ссылается на то, что село очень мало и бедно.

— Передайте ему, что другого выхода нет. Или он продаст нам нужное количество отобранных нами животных и получит за это золотом по хорошей цене, либо я вынужден буду забрать у них все, что найду, не заплатив ни копейки. Впрочем, я уверен, что за те деньги, которые я им дам, они завтра же достанут в ближайших оазисах вдвое больше лошадей и верблюдов.

Есаул встает и, резко повернувшись, идет к выходу. Мы следуем за ним. Старшина робко забегает вперед, открывая полог шатра. Аветис спокойно остается на месте, дожидаясь возвращения хозяина. Мы проходим по улицам оазиса, провожаемые недружелюбными взглядами взволнованных, протестующих жителей.

Казак сидит группами и не спеша опускают ложки в дымящиеся котелки.

— Ну как, понравилась верблюжатина? — осведомляется Гамалий.

— Да оно ничего, вашскобродь, такая же вкусная, как и говядина, только мы к ней малость не привыкли.

Из шатра показывается Аветис. Он важно шествует среди расступающихся угрюмых кочевников и, сопровождаемый старшиной, направляется к Гамалию.

— Все в порядке! Договорились. За каждую лошадь платим по двести рублей золотом, а за верблюда — по триста. Цена невелика, если учесть, что здесь не конская ярмарка.

Аветис довольно потирает руки, подмигивает глазом и смеется.

После обеда идет выводка сотенных коней. Боже, на что стали похожи наши прекрасные строевые кони, которыми мы еще недавно так гордились! Кожа да кости. По самому скромному подсчету, необходимо заменить по крайней мере двадцать лошадей, из которых только четырех можно рискнуть взять с собой. Остальные шестнадцать не смогут сделать даже и десяти шагов. Изможденные, больные люди... покрытые ранами, выбившиеся из сил кони... А впереди еще длинная-длинная дорога, полная неведомых опасностей. Настроение казаков подавленное: кони, выведенные из станиц, вскормленные из собственных рук и вынесшие все тяготы почти трехлетней войны, падали, гибли в пути.

— Коней жалко, вашбродь, ровно от сердца отрываем. Как вспомню своего Грача, слеза прошибает, — вздыхает Пузанков.

Его Грач лежит за селом необрунный, вспухший, занесенный серыми движущимися песками.

Покончив с осмотром собственного конского состава, приступаем к закупке лошадей. Против нашего ожидания их приведено немало, во всяком случае не менее двух десятков. Хозяева животных не высказывают какого-либо неудовольствия или раздражения и, по-видимому, лишь опасаются, сдержим ли мы свое обещание уплатить за взятых коней. В глубине площади вытянуты в линию низкорослые, широкозадые жеребцы, которых арабы держат за недоуздки, и несколько ездовых верблюдов. Среди коней есть несколько красивых, благородных экземпляров, с тонкими, в струнку, ногами и маленькими сухими головами, по-видимому, хороших кровей. Ценители лошадей, казаки, любят ими.

— Неплохой жеребчик, хорошей стати и был бы прекрасным производителем,— говорит Гамалий.

— Который? Серый?

— Нет, вот тот, гнедой.

Я ищу глазами производителя и действительно среди неспокойных, зло ржущих и поминутно дерущихся коней вижу замечательного темно-гнедого жеребца с налитыми кровью глазами и крутой волнистой шеей. Он бьет копытом и тянется к кобыле приказного Ковалю.

— Да ты убери ее! Не видишь, он ровно сумасшедший сделался,— советуют приказному казаки.

— Ну, ты, мамзель собачья! — кричит Коваль, оттягивая в сторону присмирившую кобылку.

Из толпы казаков раздаются замечания по поводу выведенных на продажу коней.

— Ну и кони! Прямо сатаны! На них в строю стоять невозможно.

— Да уж кому-кому, а кобылятникам соседями не быть.

«Кобылятники» — это казаки, едущие на кобылах. Таких у нас человек двенадцать.

— Что кони? Не ногами конь — брюхом возит. За им походи, и он орлом станет,— мудрствует Пузанков, разглядывая серого неказистого жеребчика.

— Выводи! — кричит Гамалий.

Арабы образуют цепочку. Впереди идет пожилой высокий араб, ведя за чумбур низкорослого молодого коня, испуганно косящегося на незнакомую ему толпу. Поочередно оглядываем жеребца, щупаем ему бабки, гладим пах, раскрываем рот и, на-

конец испытал его на рыси, покупаем. Хозяин отходит в сторону и, позванивая монетами, пересчитывает их. На песке сидит Гамалий, перед ним мешочек с золотом и большой лист бумаги. Каждый продавец, получив деньги, ставит свою печатку или прикладывает против своего имени вымазанный чернилами палец. Арабы торгуют добросовестно, не пытаясь, пользуясь обстоятельствами и спешкой, всучить плохой товар. Из приведенных коней ни один не забракован нами. Лица казаков светлеют. Упавшее было настроение явно поднимается. Конь — это все. Без коня в нашем походе казаку гибель.

К нашему удовольствию, отношение арабов к навязанной им продаже коней резко меняется. Получившие крупную сумму за своих животных владельцы только теперь, вероятно, поняли, что совершили выгодную сделку и что на вырученные деньги без труда достанут лучших лошадей. Соблазняются и те, кто раньше упорно отказывался продавать. Они подходят к Аветису Аршаковичу и предлагают привести еще коней. Но мы отказываемся, хотя незадачливые торговцы намерены даже снизить цену. Женщины внимательно следят за торгом, громко перекликаясь с мужьями. Некоторые из них, соблазнившись видом золотых монет, наспех организуют собственный базар и снуют между нами, наперебой предлагая свои немудреные товары.

Я покупаю пару пустых страусовых яиц, которые мне ни на что не нужны и, вероятно, завтра же будут раздавлены в сумке, и длинную связку полусырых фиников, начинающих уже приедаться нам. Кстати, никогда раньше не выдавшие их казаки теперь прекрасно научились отличать по косточкам и кожуре лучшие сорта от второстепенных.

Приближается вечер. Мы отдохнули и приободрились. Особенно живительно действует на нас вечерняя прохлада. Недавний самум, едва не стоивший нам жизни, никто даже не вспоминает. Такова жизнь солдата. Он живет настоящим днем и моментально забывает о только что пережитой смертельной опасности. Мы стали привычны ко всему. Порой мне даже становится страшно подумать, до чего мы одичали, если глоток холодной воды, кусок полусырого мяса и беспробудный сон на голой земле становятся иногда пределом наших желаний.

Наши проводники, арабы из Хамрина, еще с нами. Мы нарочно не отпускаем их, чтобы они раньше завтрашнего утра не смогли вернуться в свой оазис и сообщить о месте нашего нахождения.

— Карпенко, а Карпенко! — кричит приказный Дудка, разыскивая в толпе своего друга.

— Чого?

— Ты по-ихнему розумиешь? — спрашивает Дудка, показывая пальцем на окружавших его арабов.

— По малости могу, — говорит Карпенко.

— А ну, друг, скажи йому, щоб вин мово коня сохранив до нашего возврату.

— Это можно! Эй, кардаш, слухай мене! Коня его шалтай-болтай нет, щоб вернул, как назад пойдём.

Озадаченный араб поводит вокруг удивленными глазами.

— А ну тебе к бису, сукин сын! — внезапно обижается Дудка, плюет и под хохот казаков ловит за рукав Джеребьянца. — Уж вы скажите йому, щоб сохранив мово коня, берег, а як назад пидем, то я и заберу його с собою.

Аветис переводит. Старшина клянется, что кони будут сохранены и возвращены в целости владельцам.

— Брешет сука, — недоверчиво ворчит казак и тут же добавляет: — Щоб не дуже издив на кони.

— Иван Андреевич, — спрашиваю я Гамалия, — если бы арабы отказались продать коней, вы действительно забрали бы их, не уплатив ни копейки?

Есаул хитро смеется:

— Конечно, заплатил бы ту же сумму. Но жителей следовало припугнуть, иначе нам пришлось бы прибегнуть к нежелательной реквизиции, которая наделала бы много шуму и создала бы нам врагов. Убедившись, что кони все равно будут взяты, арабы предпочли их продать. В результате и волк сыт, и овцы целы.

Вечер опускается на оазис. Буйные краски заката уступили место ровной синеватой темноте, и звезды одна за другой желтыми свечками зажигаются на небе.

Маленький оазис Али-Абдаллах, встревоженный, как улей, нашим неожиданным появлением, остался далеко позади. Вот уже три с половиной часа, как мы покинули его. Старшина дал нам в проводники своего сына. Кроме того, еще двое жителей вызвались добровольно сопровождать нас. Дезориентируя арабов, мы сообщили перед уходом старшине, будто направляемся в оазис Суффа. Но, пройдя версты четыре, круто сворачиваем вправо и берем направление на Дюшамбе. Жары как не бы-

вало. Слабые и больные кони оставлены в оазисе, поэтому двигаемся хорошо, делая в час верст по восемь. Вновь приобретенные жеребцы, не привыкшие ходить в строю, то и дело вырываются из рядов, внося в движение беспорядок. Верблюды важно шагают за сотней, не отставая ни на шаг. Еще предстоит два трудных перехода, а там мы доберемся до благословенных мест, где текут реки, растут тенистые леса, зеленеют луга и солнце не убивает своими испепеляющими лучами.

Впереди обычный разъезд во главе с Зуевым. Юный прапорщик сам попросил командира послать его вперед, хотя сегодня была очередь Химича. Гамалий неохотно согласился на эту просьбу, но Зуев уверил его, что чувствует себя лучше, когда идет с разъездом.

Пески не видны в темноте, но кони все время вязнут по колени в мягком грунте, и это вызывает неприятное ощущение, когда сидишь в седле.

Кругом тихо. Ни звука. Пустыня кажется вымершей. Темнота, безмолвие и ровное покачивание убаюкивают меня. Засыпаю и только от сильных толчков на секунду открываю глаза, чтобы тотчас же вновь погрузиться в блаженную дремоту на мягких подушках покойного казацкого седла.

Время от времени Гамалий спешивает сотню, и мы бредем по сыпучему песку, разгоняя движением сон. В полночь делаем полчасовой привал и снова двигаемся дальше. Близится рассвет. Через полчаса начнет сереть, затем пустыня постепенно покроется влажной седоватой мглой. По земле поползет редяющий туман. Золотистая луна покорно скроется за облачной пеленою, и вскоре с противоположной стороны из-за горизонта выкатится пламенеющий багровый шар. Опять зной и мучения. Пережитое вчера и тревога перед тем, что предстоит сегодня, невольно вызывают в памяти незабываемые строки особенно любимого мною стихотворения Пушкина «Анчар»:

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной...

Слова выходят из потаенных щелей памяти, нанизываются в строчки и слагаются в звучные рифмы:

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек...

«Как и мы», — возникает грустное сравнение.

И к утру возвратился с ядом.

Но возвратимся ли мы? И многие ли из нас? Память автоматически подсказывает далее:

Принес — и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног...

Короткий, резкий залп прерывает мои размышления. Огненные вспышки выстрелов прорезают темнеющую впереди мглу, и барабанная дробь автомата вторгается в чистый треск винтовок.

«Засада!» — проносится в голове.

— О господи! — со стоном валится кто-то с коня.

Кони пугаются и резко бросаются в стороны.

— Слезай! — гремит Гамалий.

Мгновенно спешиваемся и передаем коноводам коней. Еще через минуту жидкая цепь, человек из сорока при двух пулеметах, со мною во главе, рассыпается по обеим сторонам дороги и быстро продвигается вперед, откуда несется ожесточенная пальба. В полуверсте от нас трещат винтовочные выстрелы и, словно святлячки, вспыхивают огоньки. Это разъезд Зуева отстреливается от встретившегося врага.

— Выяснить, в чем дело, и сейчас же донести мне. Ни в коем случае не отходить раньше, чем не получите от меня разрешения, — приказывает Гамалий.

Я киваю головой и бегом догоняю удаляющуюся цепь. Шальные пули завывают над головой и несутся по пустыне, разрывая пески. Белесая мгла мешает видеть, что происходит впереди. Ориентируемся по стрельбе. Из тумана выскакивают нам навстречу два всадника, посланные разъездом. Увидев нас, они сдерживают коней.

— Что впереди?

— Кто-то стреляет. Сколько — не видать. В барханах сидят, бьют залпами. Как дозоры подошли, они и открыли огонь. Прапорщик убиты и приказный Рубаник, — скороговоркой докладывает казак.

Зуев убит! Мне кажется, что я ослышался.

— Как убит? Зуев убит?

— Так точно, вашбродь, прямо в лицо свинцом.

Химич крестится. Пальба все усиливается.

Надо продвигаться поскорее на помощь разъезду.

— Скачите живо к командиру! — кричу я казакам, потрясенный несчастьем. — Цепь, вперед!

Теперь нам уже видна кучка наших казаков, упорно отстреливающихся от залегшего в песках врага. Навстречу мне поднимается Востриков. Пригибаясь под пулями, он подбегает к нам.

— Спасибо, вашбродь, вовремя подошли. Уже отходить думали. Больно много его в бурханах понаселю. По залпам судить — человек до ста будет. Прапорщика жалко, вашбродь, наповал...

— Где прапорщик?

— Вон там. Только до них не дойти, сильно обстреливают с песков.

Я напрягаю зрение, но кругом слишком темно. Выстрелы противника грохочут по-прежнему. Казаки еле-еле, словно нехотя, отстреливаются. Рассвет медленно разгоняет мглу. Серые пески начинают принимать реальную форму; уже можно различить смутные очертания возвышающихся впереди дюн.

— Надо отходить, — советует Востриков. — Ежели не уйдем, через полчаса будет свет, и он нас с пригорков перебьет.

Я и сам отлично сознаю опасность. Но назад нам нет пути.

Если противник силен, он все равно нагонит нас и окружит. И еще надо выяснить, с кем мы имеем дело — с турками или же с шайкой Мамалека. Нет, назад нельзя, надо вперед. Только вперед!

— Борис Петрович, как бы нас не обошли. Что-то стрелять перестали, — беспокоится Химич.

— Может, ушли? — предполагает Востриков.

— Ну да, ушли! Не иначе как в обход собираются, — возражает Химич.

Мы советуемся и решаем перейти в наступление. На вырванном из полевой книжки листке набрасываю несколько слов Гамалию:

«Впереди в полуверсте противник. Судя по характеру стрельбы и по инертности действий — арабы, не более ста человек. Сейчас перехожу в наступление, посылая в обход прапорщика Химича. Прошу вас продвинуться вперед и обеспечить фланги и тыл. Зуев убит. Труп остался впереди разъезда».

Казак увозит донесение. Лежим, изредка постреливая в сторону залегшего за дюнами противника. Химич подползает ко мне.

- Все готово!
- Ну, с богом!

Пожимаем друг другу руки, и прапорщик вместе со взводом скрывается в тумане. Его задача — охранять мой правый фланг и, зайдя за бурхан, атаковать с тыла врага. Задача весьма трудная, ибо, во-первых, с Химичем всего двадцать пять человек, во-вторых, противник, конечно, быстро обнаружит обход и остановит атакующих ружейным огнем. Но другого выхода нет. Серые пятна расползаются по пескам, кругом становится все светлее. Можно уже разглядеть саженьях в тридцати перед нами темную груду. Это убитая лошадь Зуева; рядом с нею лежит бедный юноша. Дюны все явственнее проступают из мглы. Казаки сосредоточенно молчат. Я чувствую, что неожиданная засада, смерть Зуева и Рубаника потрясли их.

Пули по-прежнему посвистывают над нами, хотя огонь противника значительно ослаб.

- Командир! — шепчет Востриков.

Я различаю подходящего к нам Гамалия. С ним человек десять казаков. Мои люди радостно смотрят на командира. Его прибытие подбодрило их. Я подробно поясняю есаулу свой план и высказываю соображения о вероятном расположении противника.

- Необходимо немедленно перейти в наступление, — говорю я, — иначе при дневном свете мы рискуем понести большие потери.

— Я для этого и подтянул сюда сотню, чтобы тотчас же атаковать противника. Двигайтесь вперед. Пулеметы расположите по флангам, гранатометчики пойдут перед цепью. Я поддержу вас с прикрытием и коноводами. А теперь — с богом! — командует Гамалий.

Поднимаю цепь и впереди нее, пригибаясь под выстрелами, бегу к сереющим передо мною дюнам. Наши пулеметы своим мощным голосом покрывают ружейную трескотню и яростно поливают свинцом дюны. Пробежав шагов пятьдесят, я чувствую, что у меня перехватило дыхание, и падаю на песок. Сердце бешено бьется в груди, рот жадно ловит прохладный воздух. Пулеметы не смолкают ни на минуту, облегчая перебежку следующим за мною казакам. Один за другим они подбегают ко мне и залегают в песок.

Противник явно начинает нервничать. Залпы сменяются нестройной, беспорядочной стрельбой. Пули падают где-то близко, обрызгивая нас мелкими, невидимыми песчинками.

Бой разгорается не на шутку. По нам бьют теперь автоматические ружья, заглушая своим грохотом наши ровно отстукивающие пулеметы.

— Вперед! — ору я и снова бегу по вязкому песку.

В моих руках казачья трехлинейка, которую я, идя в цепь, взял у Пузанкова. На бегу стреляю не целясь в сторону дюн. Меня обгоняет Востриков. Справа и слева бегут другие казаки. Неожиданно я спотыкаюсь и зарываюсь лицом в песок.

— Сотника ранило! — кричит Востриков.

Пыл бегущих людей сразу остывает. Они задерживаются, ложатся на землю и поднимают беспорядочную стрельбу. Глупое падение приводит меня в ярость. Длинная гряда дюн совсем близко. Я уже различаю — или мне только так кажется — притаившихся за ее гребнем людей, стреляющих в нас. Так нас перебьют в упор. Медлить нельзя.

С хриплым криком «вперед!» бросаюсь к дюнам. Ни на шаг не отстающий от меня Востриков бесшабашно и дико вопит:

— В атаку! Ур-рр-а!

— Ур-рр-а! — нестройно и вразброд режут казаки, вскакивая с земли.

Кто-то не выдерживает и на бегу швыряет гранату, разрывающуюся шагах в сорока впереди нас. Его примеру следуют другие. У подножия пригорка с оглушительным грохотом вздымаются в клубах песка огненные снопы. Мы карабкаемся вверх, спотыкаясь, падая, цепляясь за песок и камни.

Позади нас, вздымая песчаные вихри, завывая на десятки голосов, мчится конная лава во главе с командиром. И в ту же минуту на левом фланге противника гремит новое «ура», сопровождаемое грохотом взрывающихся гранат. Это Химич в свою очередь обрушился на врага. Мы еще не успеваем добраться до вершины бугра, как мимо нас с гиком, размахивая шашками, проносится наша кавалерия. Наверху тотчас же смолкают выстрелы, слышатся крики и шумная возня, удары шашек по чему-то тупому. Наконец-то и мы достигаем вершины пригорка.

Солнце вот-вот должно показаться из-за горизонта. Восток окрашен в нежно-розовый тон. Мягкий свет заливает равнину. Перед нашими взорами предстает картина конца боя. По покатому склону дюны несутся конные; среди них мечется несколько пеших людей; часть нашей конницы преследует по пескам бегущего врага. Некоторые казаки спешили и ведут частый огонь по разметавшейся среди дюн арабской коннице. Справа

немолчно тарахтит пулемет Химича, веером рассеивая рокошующие пули. На песке валяются убитые арабы, корчатся от боли раненые кони, пытаюсь встать на ноги. Мы взбудоражены стремительной атакой, и усталость сняло как рукой. В воздухе плывет едкий запах стреляного пороха. На земле поблескивают медью разбросанные гильзы патронов.

Тра-та-та...— заливаются горнист, трубя сбор, и бодрящие бурные звуки катятся по пустыне. На горизонте маячат отдельные фигуры ускакавших арабов. Через несколько минут они скрываются за песками. На призыв трубы отовсюду стягиваются казаки. На дюны поднимаются оставленные в тылу санитары и присматривающий за ними Аветис. Размашистой рысью подъезжает Гамалий. Подходит взвод Химича. Впереди, в полумиле от нас, застыли конные дозоры, прекратившие погоню за неприятелем.

Казаки стащили в одно место убитых арабов и уложили их в ряд. Перед нами семь трупов, залитых кровью. Несомненно, противник понес большие потери, но остальных убитых и раненых конные увезли с собою. Мы даже не можем узнать, чья шайка напала на нас. Наши потери велики. Убиты Зуев, Рубаник, Дерибаба, Дудка и Чеботарев. Ранены трое. Скользнувшая по стволу винтовки неприятельская пуля оторвала Вострикову сустав указательного пальца и прострелила кисть. Вестовой командира Горохов легко ранен в мякоть ноги, к счастью, без повреждения кости. Но наш милый, всеми любимый «батько» Пацюк при смерти. Пуля пробила ему пах и, выйдя через таз, раздробила кость. По словам фельдшера, он не проживет и двух часов. Вот результат нашей победы и новая тяжелая плата за свободный проход к цели. И надолго ли? Не предстоят ли нам еще более горестные жертвы?

Казаки несут Зуева. При падении с коня он ударился головой о камень, и теперь его лицо обезображивает огромный сизо-багровый кровоподтек, вспухший от виска до уха. У самого глаза чернеет запекшаяся кровью ранка, через которую проникла пуля. Голова бедного юноши свесилась в сторону, и его русый чуб, которым он так гордился, разметался, прикрывая простреленный лоб. Кровь липкой массой застыла на лице и сделала неузнаваемыми знакомые черты.

Рядом с прапорщиком кладут Рубаника. Лицо приказного удивительно спокойно. Смерть, по-видимому, наступила мгновенно. Пуля просверлила маленькую ранку в груди, прошла

через сердце и так же незаметно, чуть прорвав гимнастерку, вышла наружу.

Горячий ветер бежит по уже успевшим накалиться пескам. У наших ног лежат пять наших кровных братьев, пять лихих молодых казаков, еще вчера беседовавших с нами, шутивших, радовавшихся спасению от самума. И это уже не первые жертвы за этот нелепый, проклятый поход. Казаки окружают павших. Угрюмые, грустные глаза сосредоточенно смотрят на мертвецов. Карпенко, отвернувшись, утирает слезы. Под сердце подкатывается щемящая боль, острая тоска по даром загубленным людям. А солнце поднимается все выше. Все жарче раскаляется пустыня, а ее тлетворное дыхание на наших глазах изменяет черты убитых товарищей. Их лица сереют, приобретают землистый цвет, подбородки заостряются.

Гамалий сидит невдалеке на пригорке, обхватив обеими руками голову и устремив вперед тяжелый, неподвижный взгляд. Он весь ушел в себя, в свое горе и как будто не видит и не слышит того, что делается кругом. У бугра мелькают комья рассыпающегося песка. Казаки наскоро роют могилу, куда положат всех убитых. Мягкий, сыпучий грунт легко поддается лопатам, и вскоре в земле зияет глубокая, почти в сажень, яма, на дне которой просвечивает чуть влажный песок. Гамалий выходит из оцепенения; не поднимая головы, он вытирает побуревшим от грязи платком глаза, долго и громко сморкается, затем подходит к убитым и опускается на колени.

Наступает мертвая тишина; только слышно, как осыпается в яму песок да ржут внизу разбаловавшиеся кони. Есаул наклоняется к покойникам и трижды целует каждого из них в лоб. Когда очередь доходит до Зуева, я вижу по дрогнувшим векам командира, как глубоко потрясен горем этот суровый, закаленный человек.

Начинается та же печальная церемония, что и в горах, с той только разницей, что сейчас мы хороним уже пятерых, а могилой им служит не зеленый холм, а серый, бесцветный песок. Востриков, забинтованная рука которого лежит на перевязи, негромко читает «Отче наш». Печальная пустыня равнодушно внимает словам неведомой молитвы. Медленно опускают вниз съезжившееся тело маленького прапора, знавшего так мало радостей в своей короткой жизни и «еще ни разу не видавшего настоящего боя». Рядом с ним неуклюже ложится грузный Рубаник, за ним другие. Кто-то из казаков плачет. Я не могу

отвести глаз от русого чуба, лихо свесившегося на детский лоб Зуева. Где-то далеко его мать горячо поминает своего сына в утренней молитве, не подозревая, что в эту минуту мы уже опустили в песчаную яму это бездыханное тело.

Пять, а шестой умирает... «Хоть бы скорей,— мелькает в голове жестокая, эгоистическая мысль.— Все равно конец, так уж лучше с другими». Карпенко неутешно рыдает, оплакивая своего друга Рубаника. Даже суровый Никитин, отвернувшись, смотрит вдаль, поверх песков, чтобы скрыть катящиеся по его изрезанным морщинами щекам слезы. Гамалий стоит рядом со мною. Он опустил голову и весь отдался горю. Остановившийся взгляд его глаз прикован к лежащим на дне могилы товарищам.

— Засыпай! — едва слышно говорит командир, и казаки поспешно, будто с облегчением, сбрасывают со всех сторон на убитых легкий рассыпчатый песок.

Могила наполняется, сравнивается с краями, поднимается над уровнем земли. Последний долг отдан. Новый холм возвышается среди бесчисленного количества усеивающих безбрежную пустыню песчаных бугров.

Не глядя друг другу в глаза, не обменявшись ни единым словом, мы разбредаемся по коням. Как орда, без команды, без строя, выбираемся на белеющую в стороне дорогу, на которой стоят несколько конных. Среди них и Джеребьянц. Аветис Аршакович больно сжимает мне руку и шепчет, словно извиняясь:

— Я не мог заставить себя подойти к могиле. Мне так тяжело, я ведь тоже их полюбил.

Кони рвутся вперед, как будто чувствуя наше желание уйти поскорее от этого скорбного места. Сотня двигается в гробовом молчании: ни обычных балачек, ни шуток, ни даже брани по адресу непослушных коней. Гамалий ускакал вперед и едет где-то вблизи дозоров. Я понимаю, что испытывает есаул, и не пытаюсь нарушить его одиночество. Меня догоняет Пузанков, едущий с санитарями.

— Вашбродь, Пацюк кончается. Просит командира.

Я приказываю ему скакать карьером к еле виднеющемуся вдали Гамалию, слезаю с коня и, пропуская вперед сотню, жду идущих сзади санитаров.

Справа по три молчаливыми, как тени, рядами проходят мимо меня казаки. В их опаленных зноем, измученных походом, мрачных лицах столько горькой и справедливой злобы, что я не решаюсь встретиться с ними глазами. Вот, наконец,

обоз. За носилками, на которых везут раненых, шагают фельдшера. Один из них подбегает ко мне и шепчет на ухо:

— Умирает, вашбродь, кончается. Внутри его огонь жжет. Все командира зовет.

Другой угрюмо и коротко цедит сквозь зубы:

— Надо бы остановить сотню, хоть последние минуты человеку облегчить.

Командую привал. От задних рядов к передним передается:

— Стой! Сто-о-о-ой!

Сотня останавливается, потеряв свой порядок и растянувшись.

— Сле-зай!

Казаки спешиваются. Вдали видна фигура Гамалия, скачущего к нам. Наклоняюсь к Пацюку. На меня строго смотрят оттененные темными кругами, лихорадочно блестящие глаза умирающего. Полуседая борода острым клином торчит над носилками. Старик силится что-то сказать, еле узнавая меня:

— Вашбродь... будь ласка... скажите им, пусть дадут льоду... льо... ду...

Его запекшиеся губы едва шевелятся, и беззвучные, слабые слова тают, не доходя до меня.

— Ой, горыть... ой, горыть... унотро... усё горыть... льоду!.. Дайте ж мени хочь малюсенький шматочек льоду! — стонет раненый, широко раскрывая глаза. Его руки царапают края носилок, и по сухим, треснувшим губам ползет пузырящаяся слюна.

Фельдшер кладет ему на голову мокрый платок и выжимает несколько капель на пылающее лицо. Это приводит умирающего в чувство. Широко раскрытыми глазами он оглядывается вокруг и, узнав меня, слабо шепчет:

— А командир... де?.. И... ва... н... Ваня...

— Сейчас. Сейчас подойдет.

Он с надеждой смотрит на меня:

— Вашбродь... будь ласка... скажите мени... умру я чи ни... А... вашбродь?

У меня нет мужества сказать ему правду. Бормочу что-то несвязное и отворачиваюсь в сторону. Но старик уже не слушает меня. Корчась от внезапного приступа нестерпимой боли, он кричит:

— О-о!.. Боже ж мий, горыть, усё пече... Да дайте ж мени льоду!..

Гамалий на скаку прыгает с коня и бросается к носилкам.

Сознание на минуту возвращается к умирающему.

— Ваня, кон-ча-юсь,— хрипло вырывается из его судорожно вздымающейся груди.

Он силится сказать еще что-то, но пена на губах окрашивается в пурпурный цвет, глаза Пацюка стекленеют, и ясно, совершенно ясно видно, как жизнь покидает это окровавленное, скрюченное мучениями тело. Голова порывисто вздергивается назад, и острая борода «батьки» тянется в голубую неподвижную высь. Помутневшие, остановившиеся глаза удивленно, двумя точками смотрят на проползающие облака.

Фельдшер суетливо стаскивает с покойника сапоги. Сбоку в поводу держат расседланного коня. Таков обычай.

Если мы когда-либо вернемся назад, то седла, кони и сапоги убитых будут переданы родным как память о безвременно погибших и честно похороненных товарищах. Лицо Гамалия дергается судорогой, губы его закушены до крови, правая рука комкает серую лохматую папаху. Густая сеть мелких морщин изрезала лоб и щеки есаула, синеватые тени ярче вырисовываются на бледно-землистом, утомленном лице.

Я тихонько беру под руку оцепеневшего от горя человека и, не говоря ни слова, отвожу в сторону. Он безвольно следует за мной, автоматически передвигая ногами... Казаки расступаются, и мы тихо проходим мимо них...

Еще одна безымянная могила оставлена на пройденном нами пути. Еще одним недолговечным — до первого самума — песчаным холмом стало больше в серой пустыне.

Продолжаем наш безотрадный, крестный путь.

Где-то среди серо-фиолетовых песков, далеко впереди дозоров, едет Гамалий, погруженный в свои невеселые думы.

— Вашбродь, скажите командиру, нехай не разрывает нам сердца. И своего горя вдосталь, а он подбавляет. Вернуть его, вашбродь, не можно вперед дозоров уходить. Не ровен час, убьют. Як мы тогда без него? Вся сотня погибнет,— обращается ко мне подъехавший вахмистр.

Я молча машу рукой.

— Казаки сумлеваются. Боятся за командира. Пропадем мы без него, как телки. Разрешите, вашбродь, я сам верну их.— Не дожидаясь ответа, вахмистр бьет с размаху плетью коня, срывается с места и, вздымая нам в лицо песок, уносится вперед.

Аветис Аршакович и Химич едут в стороне от сотни и не обмениваются между собою ни словом. Около них потрусыва-

ют на своих низеньких жеребцах арабы-проводники, взятые нами в Али-Абдаллахе. После ночного боя и тяжелой сцены погребения они, видимо, боятся за свою участь, ожидая, что, по закону пустыни, мы выместим на них свою злобу за убитых их соплеменниками казаков. Угадывая их мысли, Аветис говорит им несколько успокоительных слов, и они приободряются.

Купленные в поселке верблюды начинают артачиться и не желают идти. Они ложатся в песок, смотрят злыми глазками на своих незадачливых поводырей и заплевывают их густой желтой слюной. Возникающая сумятица несколько замедляет продвижение. Слышится крепкая брань, свистят плети. Тишина нарушается, и безмолвие уже не давит более сотню. Наконец порядок восстановлен, и мы снова ползем по пескам. С высокого песчаного бугра издали видны две спешенные сидящие фигуры, около которых стоят кони. Это Гамалий и Никитин. Дозоры проходят мимо них и скрываются за следующей дюной. Мы медленно приближаемся к сидящим. Поравнявшись с ними, я решаю сделать привал и останавливаю колонну. Сзади подтягиваются казаки. Гамалий уже овладел собою. Он снова ровен и спокоен, как всегда, и только глубоко запавшие, утомленные глаза да в кровь искусаанные губы говорят о переживаниях командира. Десять минут уходят на остановку. Мы успеваем выпить по глотку мутной бурдючной воды и съесть по горсти сухих фиников и черному сухарю. Больным и раненым порция воды дается в двойном размере, и в дополнение они получают по полплитки командирского шоколада.

Ночевали в пустыне, выставив двойные караулы и вырыв в песке нечто вроде небольших окопов. Горький опыт прошлой ночи научил нас не доверять спокойствию пустыни. Мы уверены, что нападение арабов должно повториться, и решаем не пренебрегать никакими предосторожностями. Но ночь проходит без происшествий. Наступает утро, рассеивает темноту, а вместе с ней и наши страхи.

Пески уже не тянутся сплошной, бесконечной полосой, а все чаще перемежаются с островками плотной почвы, буроватые кочки которой заросли колючками. Коням легче идти по постепенно твердеющему грунту. Появляются отдельные чахлые деревца, указывающие на наличие подпочвенных вод. Вдали, у самого края горизонта, под бело-розовой грядой облаков чернеет длинная, тянущаяся на юг полоса. Мы знаем, что это зеленые леса, перед которыми в бессилии отступает безводная,

мертвая пустыня. Среди них текут полноводные притоки Тигра, оплодотворяя и наполняя жизнью эту благодатную страну. Сердце трепещет от радостной надежды. Если мы благополучно пройдем остаток пустыни и переправимся на западный берег Шат-эль-Этхема, мы вырвемся из когтей гонящейся за нами смерти. Густые леса Ирака укроют нас от врага, дадут нам прохладный приют, снабдят нас водою и пищей.

Кони спешат, вытягивая вперед умные морды и жадно вдыхая ноздрями воздух. Очевидно, они чувствуют близость воды и сочных лугов и не хуже нас понимают, что тяжелому пути приходит конец. Но все же и на этом переходе мы теряем трех коней и бросаем обозного верблюда.

Солнце склоняется к западу. За нами тянутся удлиняющиеся тени. Пески кончились. Идем по твердой земле, скудно поросшей желтоватой, иглистой травкой. Жалкие, сухие былинки, но они переполняют наши сердца радостью, предвещая близость напоенной влагой плодородной земли. Полоса леса впереди растет и ширится, а перед ней отсвечивает серебром ровная лента реки, маня к себе усталых, измученных путников.

Напрягаем последние усилия — и через час подходим к берегу Шат-эль-Этхема, если только это не один из его притоков.

Берег безлюден. Камыш и высокая болотная трава надежно скрывают нас от нескромных глаз. И кони и люди припали к воде и жадно пьют, не в состоянии оторваться, довольно холодную, чистую как слеза влагу.

Река неширока. Большинство из нас легко переплывает ее на конях. Остальные пользуются турсуками. Вот мы и на правом, лесистом берегу. Какое неопишное наслаждение сидеть под тенистыми деревьями с низко нависшими ветвями, вдыхая в себя благоуханный, пьянящий запах листвы! Косые лучи заходящего солнца веселыми бликами играют по рыжим стволам и пронизывают золотыми иглами паутину, развешенную между кустами. Прохлада вливает силы в истомленное тело. Казаки буквально опьянели от радости. Они пластом лежат на зеленой лужайке, нежась и по-детски восхищаясь каждым деревцем, лесными шорохами и пролетающими над ними птицами. Кони бродят по лугу, лениво пожевывая набухшие стебли.

Решаем отдохнуть несколько часов, чтобы с новыми силами идти через лес. Искушение выкупаться велико, и я уговариваю есаула разрешить людям поочередно поплескаться в небольшом затоне, притаившемся в густых зарослях камыша и частого кустарника. Нагретая за день вода напоминает теплую ван-

ну, но и она живительно действует на разморенное, обожженное солнцем тело. С удовольствием ныряю несколько раз и, освеженный, вылезая на траву. Казаки один за другим прыгают в воду с деревьев, поднимая веселые брызги и гоня по спокойной глади вод расходящиеся круги. Черная усатая голова Аветиса выглядывает из воды. Он не умеет плавать и не рискует отойти дальше трех шагов. Химич, фыркая, как тюлень, проплывает мимо него, пытаясь утянуть барахтающегося Аветиса вглубь. Казаки плещутся, наполняя сдержанным гулом сонную заводь.

Я вспоминаю нашу недавнюю переправу через Диалу, розовое веселое лицо юного прапора, и сердце щемит острой болью.

Разбирая вещи покойного, мы нашли в полевой сумке Зуева незаконченное письмо-дневник, в котором он описывает матери наш переход через пустыню и налетевший самум. Если вернемся когда-либо к своим, письмо это я сам отвезу родным мальчика. В кустах нетерпеливо дожидаются казаки, жаждущие искупаться в свою очередь. Благоразумие требует, чтобы большая часть сотни была готова ко всяким случайностям.

— А ну, вылазьте, до ночи чи що будете плескаться! — кричит вахмистр. — Кому говорю, дьяволы? Вылазь! Дай и другим скупаться.

Казаки неохотно выбирают на берег, уступая свое место новой очередной партии. Встревоженные утки стаями носятся над камышами, оглашая берега резкими, недовольными криками. Мы любуемся ярким оперением степенных фламинго, улетающих подальше от непривычной суматохи. Проклятая мошкара, бич здешних мест, несчетными роями носится в воздухе, больно кусая раздетых людей.

— Совсем конец пескам или встренем еще пустыню? — спрашивает Востриков, с завистью поглядывая на плещущихся в воде казаков.

Рана мешает ему «сигануть» в реку, и удалой казак довольствуется малым: засучив по колени шаровары, болтает в реке голыми ногами. Около нас на траве отлеживаются вылезшие из воды пловцы, подставляя поочередно под набегающий с реки ветерок голые бока.

— Кончилась, чтоб ее вовек не видать. Дальше пойдут леса, поля, реки.

Соседи подползают к нам, и разговор становится общим.

— А скоро соединимся с англичанами, вашбродь?

— Должны скоро, еще денька через два-три, — неуверенно отвечаю я.

— А может, и пять? — иронически подсказывает кто-то.

— Может, и пять.

— Скорей бы. Надоело, вашбродь, ой как надоело!

— Це точно! Обрыдло и сказать не можно як. Спымо, вашбродь, так и во снi кинец бачимо,— со вздохом говорит Стеценко.— Батьки наши, як снаряжали нас на службу в полк, рассказывали про японьску войну, диды размовляли про турецьку, в симьдесят яком-то роци. Що ж, дуже тяжко тоди було. А теперь мы им расскажем, як вернемось на Кубань, що мы бачили, яку мы муку-мученическу прыймалы, як товарищей без попа та без хреста хоронили. Ни, вашбродь, ни батькам нашим, ни дидам не приводилось гирше, чим нам, муку приймать.

— Это верно! Разве их службу с нашей сравнить! Мы, вашбродь, с вами войну вместе делаем, еще с самого Каракурту, всего навидались, везде поголодували, а крови нашей казацкой всюду понапрасну вдоволь пролито. Помните, вашбродь, на Бордусском перевале, когда Энвер-паша от Саракамыша отступал, как по брюхо в снегу трое суток без хлеба простояли?

Помню ли я? Да разве можно забыть эти ужасные ночи, когда мы, одинокая, заброшенная глупыми штабными распоряжениями в горные снега, худо одетая сотня, неведомо для чего оберегали непроходимую горную вершину, занесенную трехаршинным снегом! Через двое суток о нас вспомнили и приказали спуститься вниз. Но уже было поздно. Трое казаков замерзли в дозоре, девять отморозили руки и ноги, а остальные почти все простудились и провалялись всю зиму в госпиталях. Можно ли забыть эти проклятые ночные, мучительно холодные часы, когда застывали на щеках, не успевая скатиться, слезы, медленно холодея, отнимались замерзающие конечности?!

— А под Копом! Помните, вашбродь, когда девять суток питались вареными желудями да конину без соли жевали? А Зангувар, а Девиль?! Эх, вашбродь, что мы, что вы — одна нам честь в поле. Нужны мы, казаки, пока руки целы, а жизнь наша — без надобности.

Казаки сочувственно слушают горячую тираду Вострикова.

— Правильно! Как есть правда,— вздыхают они, с детским любопытством ожидая от меня ответа.

Никитин снова появляется на берегу:

— А ну, вылазь! Побаловались, и буде. Ну, живей, живей!

Появление вахмистра спасает меня от необходимости продолжать рискованную беседу о войне. Поедаем консервы, запивая их чаем без сахара. При переправе через реку один из обоз-

ных верблюдов внезапно лег, и наши запасы сахара растаяли и потекли.

— Вахмистра ко мне!

— Вахмистра к командиру! Передай «голос»: вахмистра к командиру! — прокатываются выкрики.

Через минуту из ближайших кустов выскакивает Никитин.

— Собирай сотню, Лукьян. Через полчаса в поход.

Мы лежим в траве и неохотно думаем о грядущем пути.

— ...Теперь полегче... холодком идти... кони не нарадуются траве, — доходят до дремлющего сознания отдельные слова.

Садимся на коней и длинной лентой тянемся между зелеными кустами, залитыми золотистыми лучами заходящего солнца. Смятая трава да черные, обугленные ветки говорят о нашей стоянке. Перед тем как войти в лес, я привстаю на стременах и оглядываюсь назад. За спокойной гладью реки расстилаются серые, выжженные пески, ставшие могилой наших товарищей. Колонна втягивается в лес и скрывается в его тенистом полумраке.

Первая ночевка в лесу. Сыро, темно и невесело. Несмотря на усталость, я долго не могу заснуть. Казаки спят. Хрустит кора, которую обдирают привязанные к деревьям кони. Черная, непроглядная мгла. Подношу к глазам руку и не могу различить ее. Из темноты слышатся сонные вздохи, кашель и редкий шепот. Наверху, в ветвях, возятся ночные птицы, хриплыми голосами прорезая тишь. Глухой стон рождается где-то среди деревьев, переходит в детский плач. Это бродячий ветер рыщет по дуплам и трещинам догнивающего, столетнего бурелома. Шорохи и скрипы ползут и приближаются к нам, наполняя страхом полусонное сознание. Наконец благодатный сон охватывает меня.

Утро. Недолгие сборы — и снова вперед по целине, без дороги, руководясь лишь спасительным компасом Гамалия. День проходит убийственно монотонно. Путь, отдых, еда, снова путь и в заключение ночлег.

Удивительно, как может надоесть даже самая роскошная природа, если она подается в слишком большой дозе, и притом в скучном однообразии! Лес кончается, и мы выходим из него. Темно-зеленая полоса остается в стороне. Впереди расстилается роскошная, изумрудная равнина, окаймленная густо растущим кустарником. Сочная трава, усеянная яркими цветами,

поднимается почти до колен. Маленькие пестрые птички чирикают в кустах, перелетая с ветки на ветку. Стройные цапли бродят по влажному лугу, и звенящее лягушечье кваканье оглашает окрестности.

— Вот благодать-то Господня! — радуется Химич, снимая папаху и подставляя под ветерок стриженую голову.

— Места знатные, — соглашается Карпенко, едущий рядом с ним. — Нам бы такую земельку! Сейчас всю станицу сюда перетянули б, — мечтает он. — Трава какой у нас и вовек не видать, а земля добрая, что хошь посеешь — все уродит.

Казаки взорами ценителей любовно оглядывают цветущую степь.

— Дай нам эту землю, мы б ее зубами подняли.

— А хиба наша хуже? Попрацуй на наций, так и вона тоби два урожая дать.

— Ни-и, против этой у нас земля трудная, неоткровенная земля для двух урожаев, — возражает Горохов.

Спор о земле разгорается, и до меня еще долго доносятся отрывистые фразы спорящих казаков.

Гамалий молчит и сосредоточенно курит одну папиросу за другой. Время от времени он поглядывает на компас, затем устремляет взор на карту и недовольно мычит:

— Гм...

— В чем дело, Иван Андреевич?

С минуту он молчит и затем сердито бросает:

— А то... сбились мы с дороги, вот что! По карте и по времени мы сегодня или завтра должны быть на берегу Тигра, а выходит, что болтаемся где-то севернее. Прямо грех с этими картами.

Спешиваем сотню и занимаемся географическими изысканиями. Да, так оно и есть, мы уклонились в сторону Бак-Эбба. Ошибка не из приятных, так как в этом районе чаще встречаются населенные пункты и, следовательно, мы больше рискуем натолкнуться на турецкие разъезды.

Двигаемся дальше. Порой идем пешком, ведя в поводу коней. Местами трава доходит до пояса и затрудняет ходьбу, но мы так давно не видели столь чудесных полей, что даже не хочется садиться в седла.

Невероятное количество самых разнообразных представителей пернатого царства таит в себе этот девственный луг. Большие сине-красные фазаны, сверкая радужой оперения, с характерным фырканием и шумом то и дело взлетают из высокой

травы. Дикае голуби реют и парят в воздухе. Чертя неожиданные зигзаги, быстрые ласточки носятся в голубом просторе. Неведомые пичужки голосят в кустах, разлетаясь разноцветным дождем при нашем приближении. Воздух гудит и стонет от звона, чириканья и клекота птиц. Над травой плывут длинные зеленые, синие и желтые стрекозы. Огромные яркие бабочки перепархивают с цветка на цветок.

Солнце прячется за ближние кусты. Тускнеют и стираются розовые краски заката, и медленно темнеет небосклон.

Гамалий заводит сотню в треугольник, образованный разросшимся кустарником, и располагает ее на ночлег. Запрещено разводить хотя бы самые маленькие костры, и мы остаемся без чая. Несколько счастливцев, у которых сохранился табак, лежа на мягкой, скошенной кинжалами траве, посасывают свои драгоценные сигарки. Около них сидят в самых разнообразных позах кандидаты на затяжку, нетерпеливо дожидаясь своей очереди «курнуть». Они понукают и поторапливают слишком медленно смакующих удовольствие обладателей самокруток.

— Вирыте, вашбродь, аж в печенке свербыть. Так курить охота, що и сказать не можно, — виновато улыбается, словно оправдываясь, Скиба, которому Гамалий дал табачку из своего запаса.

Яркая луна освещает пригтаившихся в траве людей. Свежескошенная трава полна душистых запахов луга. Химич лежит рядом со мною и хвастливым тоном рассказывает Аветису о каком-то романтическом приключении, выпавшем на его долю в станице.

— Он старый, а она, мельничиха, молодая. Ну а я, надо сказать, казарлюга был хоть куда, справный. Она от меня, а я за нею. Она — круть на сеновал. И я туды же, схватил ее за руку, а она это луп-луп на меня глазами, делает вид, будто сомлела...

Я не слышу окончания романа сластолюбивого прапора, ибо до меня доносится голос Пузанкова, с увлечением рассказывающего слушателям:

— А травы там, не соврать, дуже богато. Ну, не хуже этой буде. От уж, братцы мои, и покосилы мы тоди.

— Ну и что ж, так они вам и дали косить? — недоверчиво вопрошает чей-то голос.

— А то мы их пытамы? Косилы по приказу атамана. Тут один ногай не стерпел — хватъ, окаянный, за наган да в нас...

— Ну и что?

— Та ничего, наша взяла.

— А траву — вам?

— Нам, — удовлетворенно заканчивает Пузанков.

Разговоры мало-помалу стихают и уступают место мерному храпу заснувших казаков. Караулы расставлены на своих постах и охраняют наш сон. Дневальные заботливо посматривают за стреноженными и сбатованными конями, чтобы они не разбегались и не затерялись среди ночи.

Рано утром меня будит встревоженный вахмистр:

— Вашбродь, ероплан.

— Аэроплан?

— Так точно. Будите командира.

Я расталкиваю Гамалия.

— Где аэроплан?

— Вон, вашскобродь, еде видать, — указывая рукой на серый горизонт, говорит Никитин.

После некоторых усилий ловим черную точку в наши шестикратные «цейсы». Так и есть. Это, несомненно, летящий в нашу сторону аэроплан. Но чей? Свой или врага? Скорее всего, последнее.

— Сейчас же спрятать коней, завести в кусты и, пока не дам приказания, не выводить. Казакам лечь в траву! — кричит Гамалий.

Люди быстро разбегаются по кустам, кони заведены в самую глубь треугольника и совершенно скрыты от глаз воздушного наблюдателя. Пулеметчики наводят на светлеющее небо черные стволы невидимых в траве пулеметов. Рокотанис мотора слышится сильнее, черная точка растет и выплывает на светлый фон. Огибая лес, аэроплан проносится на значительной высоте, летит в сторону пройденной нами пустыни. Казаки высовываются из травы и провожают шуточками стальную птицу:

— Политила шукать доли.

Черная точка делается меньше и наконец сливается с облаками; только глухо рокошет мотор да потревоженные птицы стаями носятся в воздухе, оглашая долину испуганным свистом. Гамалий опускает «цейс» и говорит:

— Кажется, мы у цели. Аэроплан английский и, вероятно, послан для наших розысков.

От изумления Химич глупо крикает и раскрывает рот. Радостный гул пробегает по сотне. Слова командира электризуют казаков.

— Свой ероплан! Англицкий! — несутся радостные восклицания, заражая надеждой измученных людей.

Взбодренные словами Гамалия, они радостно машут шапками и, не боясь обнаружить себя, вылезают из кустов, стараясь хоть краем глаза разглядеть скрывшийся в облаках самолет.

— Теперь близко, мабудь, скоро и дойдем.

— Давай бог! — поддерживают довольные голоса. — Помаялись немало, треба и отдохнуть.

— По коням! — гудит голос есаула.

Едем, пригибая высокую, сверкающую росой траву. Усталости как не бывало. Аэроплан развеял сомнения и неуверенность. Тяжелый путь, зной, убитые товарищи и страх за себя — все забыто и рассеялось как дым. Востриков, несмотря на разболевшуюся рану, потешает прибаутками казаков. Взрывы смеха пугают притаившихся в траве птиц.

— Очумели от радости, жеребцы, — кивая в сторону смеющихся, говорит вахмистр, — ровно живой водой сбрызнули. Ну и то сказать, вашбродь, много муки на себя приняли, не дай бог никому. Спасибо вам да командиру: без вас нам бы не дойти.

Я гляжу в ясные глаза Никитина и чувствую невыразимую радость от простых слов честного малого.

Ой на гори та женьци жнуть,
А по-пид горою яром, дольною
Козаки идуть...—

затягивает вполголоса запевала. Певцы негромко подтягивают старинную запорожскую песню, разливающуюся по сонной равнине. Гамалий довольно усмехается:

— Пусть поют. Впереди еще немало трудностей, конец пути неблизок, а такая бодрость духа доведет нас до англичан.

Я еду рядом с ним. Мы отделяемся от сотни. Есаул продолжает:

— Я не уверен, был ли это на самом деле союзный аэроплан. Думаю, что да. Его окраска, направление и моя редко обманывающая меня интуиция говорят за то, что это был английский самолет. Но так или иначе необходим был хороший подъем, который подбодрил бы и освежил казаков. Я не ошибся в своих расчетах. Сейчас мне не страшен целый батальон регулярной турецкой пиады¹.

¹ Пехоты.

Цель оправдывает средства, и я внутренне согласен с есаулом, но мне почему-то не хочется повернуться лицом к весело поющей сотне. Я вспоминаю ясный взгляд Никитина и его просто сказанные слова: «Не дай бог, сколько муки приняли на себя казаки», — и мне становится тоскливо от залихватской песни.

Переходим вброд неглубокую речонку и, напоив коней, снова двигаемся в путь. Веселая бодрость не покидает казаков, и только отсутствие табака мучает людей.

— Ничего, вот придем к англичанам — они каждому по фунту отвалят, — шутит Химич.

— А кто их знает? Они, может, через фронт добры, а как по соседству станут, так, может, еще хуже сталоверов. Эх, веселое горе, казацкая жизнь!

— Это правда. Добер топор до бревна; как поцелует — бревну смерть.

— А бис их знае? Балакают люди, що англичы ты ж сами нимци.

— Тож порося, только ростом с карася, — подхватывает Востриков.

— Хо-хо-хо! — заливается сотня, забыв на минутку об отсутствующем табаке.

Делаем привал. Дозоры спугнули пару бурых лисиц, во всю прыть улепетывающих по равнине. Казаки с удовольствием гогочут им вслед.

— Видите, что значит допинг? Бодрый дух — великое, батенька, дело!

Казаки беспрестанно оглядываются назад, каждому хочется увидеть возвращающийся аэроплан. Иногда чей-нибудь прерывистый голос радостно возвещает:

— Летыть! Ей-богу ж. Он летыть.

Сотня устремляет взоры в указанную сторону и внимательно разглядывает совершенно чистый небосклон.

— Тю, ведьмак, так то ж карга, — неожиданно сплевывает в сторону Востриков, и смущенный наблюдатель под общий хохот прячется в ряды.

Аветис чувствует себя слегка нездоровым. Его лихорадит с самого утра и тянет ко сну. Фельдшер сует ему облатки с хиной и какие-то порошки. Переводчик пожелтел, осунулся и жалуется на отсутствие аппетита.

— Малярия тропическая, — стонет он, лязгая зубами и ежась от холода.

Через пять минут он настолько ослабевает, что его укутывают в бурку, покрывают дорожным плащом и кладут на походные носилки, на которых он продолжает дальнейший путь.

Снимаемся с места и идем опять. Странно, когда мы проходили по выжженным пескам пустыни и жарились под нестерпимыми лучами солнца, мы не имели такого количества больных, как теперь. Почти четвертая часть сотни ощущает слабость, озноб и болезненное головокружение. Даже Гамалий ослабел и принимает удвоенные дозы хинина. Тучи несносной мошкары и больших усатых комаров атакуют нас. Мелкая мошка забирается в рот, в глаза и буквально не дает дышать. Сырой луг, на котором сквозь травы просачивается вода, переполнен мириадами беспощадных насекомых, с неопишуемой жадностью набрасывающихся на людей. Кони еле идут, мотая головами, тщетно пытаясь согнать облепивших их маленьких мучителей. Мы напрягаем силы, чтобы выбраться из долины и избавиться от этой новой напасти.

— Коли б був табак, воны бы дыму боялись,— выплевывая изо рта мошек, бормочет Гамалий.

Есаул явно заболел. Синие круги рельефнее выступают под глазами, и нездоровая бледность ясно свидетельствует о его состоянии. Слегли еще трое казаков. Осталось только двое свободных носилок, а малярия избирает себе все новые жертвы. Хина, принятая утром, не помогает, и число больных к вечеру удваивается. От утренней бодрости и оживления не осталось и следа. Понуро, еле-еле передвигая ноги, кони везут на себе выбившихся из сил, апатичных казаков, из которых добрая половина страдает от жестокого приступа лихорадки.

Гамалию худо. Силы покидают его. Стиснув зубы, он слезает с коня.

— Прихворнув, треба полежать,— говорит он и, не выпуская из рук повод, валится навзничь на траву.

— Иван Андреевич, ложитесь на носилки,— советую я.

— Нет не надо, малость отдохну. А вы езжайте дальше, не задерживайте людей,— едва слышно бормочет он, и я вижу, как его лихорадочно горящие глаза закрываются от нестерпимой боли.

Около командира остаются Горохов, фельдшер и вахмистр. Сотня, не обращая внимания, равнодушно проходит мимо. Наша колонна напоминает теперь передвижение тылового госпиталя. Изнуренные лица казаков бледны и искажены страданиями. Неудержимая дрожь трясет их, заставляя громко ляз-

гать зубами. Некоторые не могут преодолеть мучительного приступа рвоты.

Мало-помалу проклятая мошкара отвязывается от нас. Сырой, топкий луг с его ядовитыми испарениями сменяется неровной долиной, окаймленной кое-где высокими холмами. Вечереет. Я беспокоюсь о командире, и к тому же состояние моих еле держащихся в седле людей заставляет меня остановиться на ночлег. Выбираю самый высокий холм и, подведя к нему сотню, спешиваю казаков. Половина из них сейчас же пластом валится на землю, забывая о еде. Усталые кони, повесив головы, не пытаются даже отойти от хозяев. Отбираю здоровых казаков и приказываю им стреножить лошадей. Забравшись на холм, оглядываю в бинокль окрестности. Химич, которого не берет никакая лихорадка, жуя сухарь, карабкается ко мне.

— Ну и дела! Больше половины сотни в горячке лежит. Ежели завтра не отойдут, надо дневку делать. Все равно не дойдем.

Я и сам это знаю. Но меня успокоил фельдшер, уверяющий, что приступы тропической лихорадки повторяются лишь через сутки, и, следовательно, завтра она как будто не должна мучить казаков, если только наутро не заболеет другая половина людей.

Закат догорает, и долина быстро погружается в темноту. На горизонте вспыхивают зарницы. Что-то отсвечивает вдали. Несомненно, это река. Но какая? Неужели Тигр? Я так потрясен этой догадкой, что не смею даже поверить в ее правдоподобность. Ведь если это так, то мы уже добрались до назначенных мест. Ждут ли нас здесь или дальше союзные разъезды, я не знаю, но сознание, что мы, русские солдаты, несмотря на непреодолимые препятствия, на голод, зной, бои и многоверстный путь, все-таки дошли до цели, наполняет меня горделивой радостью, которая тут же гаснет подобно спичке.

— Вашбродь, командир едут. Совсем ослабели, вовсе не в силах.

По ложбинке едет группа из трех человек. Двое всадников поддерживают с боков поникшего в седле Гамалия. Мы кладем есаула на сложенные бурки и закутываем его, обтянув лицо и руки марлевым пологом, чтобы предохранить больного от укусов комаров.

Ночь. Долина. Холмы. И на одном из них спит сотня почти поголовно больных, разметавшихся в лихорадочном бреду казаков. Я снова вспоминаю слова мечущегося в жару Сухорука: «Видать, им своих жальче».

Пытка усилилась. Шествие живых мертвецов по долине продолжается. Несмотря на успокоительные заверения сотенного эскулапа, малярия с самого утра начинает трепать больных. Проглоченная на ночь хина не дала никаких результатов. Люди еще больше ослабели, и почти вся сотня мучится в лихорадке. Химич, я да еще десятка два людей кое-как крепимся и не поддаемся болезни. Коварная река, заболоченный луг с его смертоносными миазмами и мириады комаров отравили нас. Лихорадкой болеют не только люди, но даже кони. Они не похожи на себя. Глаза их мутны и воспалены, ноги дрожат и поминутно спотыкаются, пот и пена обильно покрывают тела животных. Солнце сильнее нагревает долину, и горячий воздух дурманит больных. Гамалию все хуже. Его поминутно тошнит, мучительные судороги сводят ноги и руки, зеленая слизь проступает на губах.

Страдания людей достигают своего предела.

— Не могу... не мучьте мене! — глухим стоном раздается позади меня.

Один из казаков сворачивает в сторону и почти валится с коня. Жесточайший озноб трясет скорченное тело, и хриплые стоны вырываются из груди. Пример действует на остальных. Еще двое казаков, не говоря ни слова, слезают с коней и садятся на землю.

Смотрю на колонну, и она представляется мне вереницей теней. Проклятая малярия подкосила дух этих крепких, двухжилых людей. В таком состоянии мы не пройдем и версты.

Приходится остановиться. Казаки сползают с седел и тут же опрокидываются на траву. Желтые, осунувшиеся, перекошенные страданиями лица с укором смотрят на меня. Тяжелобольные лежат пластом, без движения, как покойники. Двое выкрикивают что-то нечленораздельное в горячечном бреде. Кони разбрелись по ложбинке. Немногие еще здоровые казаки гоняются за ними, стараясь их изловить.

Усатое, перекошенное страхом лицо Химича вырастает передо мною.

— Погибаем ни за что. Как бы к вечеру все не легли.

— Отберите сейчас же всех здоровых людей и приготовьте их, — приказываю я прапорщику. — Надо произвести глубокую разведку и найти какое-либо село. Нельзя оставлять людей без призора в таком состоянии.

— Так точно! — по-солдатски отвечает растерявшийся Химич и сокрушенно вертит головой. — Вот тебе и добрались до союзничков. И за что только людям такая маета досталась?



— Не дай бог, что с хлопцами творится, вот-вот с жизнью расстанутся,— печально говорит Никитин.

Бравый вахмистр заметно сдал и осунулся. Его ласковые, немного печальные глаза страдальчески смотрят на меня.

— И за что, вашбродь, мучаемся? Разве нужно нам это все? Своих гор да степей некуда девать, а тут еще за чужие душу отдавай. Э-эх!

Он тяжело дышит, и его простое, открытое лицо передергивается судорогой гнева. Это Никитин, вахмистр, тот, кто должен служить примером и опорой дисциплины сотни! Да, этот «исторический», будь он проклят, рейд отрезвил не только казаков, но и нас, офицеров «лихого» Уманского полка.

— Командир сомлел! Никак не очухаются,— с растерянным видом подбегает ко мне Горохов.

Около Гамалия возится фельдшер. Он льет воду на бледное лицо потерявшего сознание есаула и сует ему под нос пузырек с нашатырем. Грудь больного судорожно вздымается. Из-под растянутого бешмета высовывается ворот грязной, давно немытой рубахи. По волосатой груди стекают капли. Командир медленно открывает глаза. Секунду он неподвижно смотрит в небо, затем мутным взглядом обводит нас и слегка задерживается на мне. Напрягая усилия, он с трудом, еле слышно говорит:

— Голубчик... не за...бы...вайте... мы уже... у цели. Вперед!

Я успокаиваю его, и он, обессилив, слабо кивает головой. Обильный пот покрывает его желтое, обтянувшееся лицо.

— Соберите разъезд и отправляйтесь с ним в разведку. Необходимо выяснить, куда мы попали.

Химич испуганно смотрит на меня. Его лицо тревожно, а маленькие глазки беспокойно бегают по сторонам.

— Что с вами?

Он мнетя, недоверчиво косится на вахмистра и, беря меня под руку, уводит вперед. Мы идем, сопровождаемые тоскливой симфонией из кашля, стонов и тяжелых вздохов больных людей.

— Не дай бог, что творится. Нехорошо с казаками. Беда!

— Что такое?

— Развалилась сотня, прямо сказать. Нипочем нет дисциплины. Озверели. С ними не только что в разъезд идти, а их теперь и на коня не посадить.

— Глупости! Что вы там мелете вздор! Немедленно же отберите людей поздоровее и отправляйтесь!

Химич еще больше меняется в лице. Его шея и лицо багровеют, на лбу выступает мелкий пот, и надуваются синие жилки.

— Воля ваша, Борис Петрович, я пойду. Только помните мои слова: нехорошо у нас творится с людьми.

Он быстро отходит, и я вижу, как его согнувшаяся спина мелькает среди понуро застывших коней. Взбираюсь на холм. На душе тоскливо и гадко. Химич прав: сотня разлагается, падает дисциплина, гаснет вера в благополучный исход, а болезнь и лишения окончательно доконали казаков.

Внезапно снизу раздаются крики и брань. Оборачиваюсь. Окруженный казаками прапорщик пытается говорить. Но происходит что-то необычайное, настолько чудовищное и невозможное, что я не верю своим глазам. Один из казаков машет кулаком у самого носа Химича и, захлебываясь от злости, кричит на него, заканчивая свою речь крепкой руганью, а тот стоит опустив голову, даже не пытаясь протестовать.

Сбегаю к возбужденной группе. Сердце учащенно бьется, голова кружится от неожиданности.

Мне навстречу, отрываясь от круга, спешит Никитин. Лицо вахмистра серьезно, его глаза сухо и внимательно смотрят на меня. В этом новом и незнакомом мне человеке я не узнаю всегда ласкового и спокойного Лукьяна.

— Не ходите дальше, вашбродь! Не хотят вас видеть казаки. Невмоготу людям. Не дай бог, не выдержат — разнесут и вас и командира,— говорит он совершенно спокойно, и только суровая складка на лбу и серые строгие глаза подчеркивают особый смысл его слов.

— Что ты говоришь! Ты понимаешь, что говоришь? Ведь это измена! Мы должны идти вперед! — кричу я, задыхаясь от гнева и отчаяния.

Что-то обрывается у меня внутри, в висках с точностью часового механизма отстукивают невидимые молоточки.

— «Впе-е-еред»? Хватит уж. Находились. Не видите разве — ровно мухидохнут.— Вахмистр равнодушно отворачивается и отходит от меня.

— Да ведь это форменный бунт! Ты понимаешь, что за это грозит расстрел?!

— Эх, вашбродь, оставьте пужать. Какой там расстрел! Спасибо, что казаки вашего брата в шашки не берут. Не видите разве, что всем смерть пришла?

— Крестов захотели? Ладно, будут вам и кресты, да только не беленькие¹,— хрипит Карпенко.

¹ Офицерские Георгиевские кресты были покрыты белой эмалью.

Его совсем согнуло в дугу. Скрючившись, он сидит на земле и с ненавистью смотрит на меня воспаленными, налитыми кровью глазами. Меня обступили бледные, изможденные люди. В их взорах я читаю обиду, укор, накопившуюся бешеную злобу.

— Да ведь мы, братцы, у цели. Еще сорок — пятьдесят верст — и мы соединимся с англичанами.

— Слыхали! Уже двадцатый день все про то рассказываете. Хватит! Никуды мы отсюда не пойдем! — слышатся в ответ озлобленные голоса.

— Повоевали, буде! Кому война — мать: чины да богатства дает, а нашему брату — одно горе. Не согласны мы вперед идти.

— Да ведь погибнете здесь.

— Все однако! Нема нашего согласу наступать.

— Уж ежели вам так хочется, то вы и шукайте сами англичан, — зло бросает Сухорук. — А нам уж довольно и без того, вон вся сотня без памяти лежит.

— Так? Ну ладно!

Я иду к своему коню. По существу, это единственное, что на самом деле и можно только предпринять. Казаки с любопытством смотрят вслед. Двое или трое отрываются от группы и бредут за мной.

— Что ж, вашбродь, вы это всерьез или так? — тихо и пылливо спрашивает Сухорук, исподлобья глядя на меня.

Я не отвечаю и, вздев ногу в стремя, вскакиваю в седло.

— Стой, стой, вашбродь! Это не дило. Колы помирать, так не дуром.

Лица казаков светлеют. Мой пример, очевидно, действует на них, хотя большинство по-прежнему неподвижно и апатично лежит на земле.

Несколько человек идут к коням, медленно и неуверенно разбирают поводья и так же апатично съезжаются ко мне.

Перелома еще нет, но я вижу, что самый острый и напряженный момент прошел и люди снова подпадают под власть дисциплины.

Химич приходит в себя и, еще красный от стыда и волнения, смущенно говорит, не поднимая на меня глаз:

— Вы сами поедете, Борис Петрович?

Число всадников сзади меня все увеличивается; их набирается около тридцати человек. Это все, кто еще может так или иначе держаться в седле.

— Что ж,— вздыхает Сухорук,— езжайте, только все одно ни к чему.— И он безнадежно машет рукой.

Казаки угрюмы и недоверчивы. Они пошли за мной не по своему желанию, а потому, что их подняла еще не вконец разрушенная дисциплина и вековая привычка подчиняться «начальству».

Не глядя на них, командую:

— Равняйс-с-сь!

С прежним безразличием они подтягивают коней и строятся в шеренгу, фронтом ко мне.

— Смирно-о-о-о!

Маленькое движение — и мой разъезд застывает. Холодные глаза Сухорука насмешливо щурятся, и он, сплевывая на траву, качает головой.

— Разъезд готов, тридцать шесть человек на здоровых конях,— докладывает Химич.

— Очень хорошо, я беру с собой двадцать человек при одном пулемете и иду в разведку. Если к ночи не вернусь, не беспокойтесь. Постараюсь прислать с ночевки донесение. Не уходите отсюда раньше, чем я не установлю с вами связи. Когда оправится командир, передайте ему вот этот пакет.

Я наскоро набрасываю и отдаю прапорщику рапорт с объяснением цели и маршрута моей разведки и командую выступление. Через секунду мы удаляемся от оставшейся позади большой сотни.

Сборный разъезд набран из всех четырех взводов. За урядника едет приказный Товстогуз — молодой, недавно прибывший с пополнением казак. Черный ствол «люисовского» пулемета выглядывает из-за его плеча. Казаки молчат. Печальная картина еще свежа в нашей памяти. Пробую рассеять ее и заговариваю с ними. Отвечают коротко, односложно и нехотя. Переходим на рысь, и скоро сотня скрывается из виду. Идем ложбинками, чтобы нечаянно не обнаружить себя. В скучном безмолвии переходим от холма к холму. Впереди дозоры. Со мною всего десять человек.

Вдруг передний дозор останавливается, от него отделяется казак и скачет к нам.

«Что там? Село, дорога? Или, может быть, неприятель?» Сердце сжимается от томительной неизвестности.

Казак быстро приближается к нам. Лица казаков насторожены; они пристально глядят вперед. Но то, что встревожило дозоры, скрыто холмистыми неровностями.

— Конный разъезд впереди,— сдерживая коня, докладывает связной,— не далее как верстах в двух от нас.

— Большой? Сколько человек?

— Да, видать, немного, человек до сорока будет.

Сорок человек. Если это неприятель, то этого больше чем достаточно, чтобы оттеснить меня и обнаружить слабую, небоеспособную сотню.

Продвигаемся к холмам, на которых, наблюдая за противником, застыли дозоры. Товстогуз на ходу стаскивает с плеча пулемет и вкладывает в него широкую обойму.

— Гостинец,— говорит он.

Я останавливаю разъезд и с двумя-тремя казаками поднимаюсь на гребень холма. Впереди зеленая степь, перерезанная верстах в двух от нас широкой белеющей дорогой. У самой дороги, рассыпавшись в цепь, стоит в конном строю полуэскадрон. Несомненно, это регулярные части. В бинокль отчетливо видны прекрасные, упитанные кони и длинные пики, которыми вооружены кавалеристы. Внимательно разглядываем друг друга.

— Вашбродь, это не иначе как англичане,— вдруг решает Товстогуз.

— Почему ты так думаешь?

— Та больно гарни кони, в полной справе. Разве у турков будут такие сытые кони? Николы! Они ж, беднота, вроде цыган живут, ничего нема, одно слово, босота,— убежденно говорит приказный.

— Точно! Опять и форма не та,— поддерживают его казаки.

Насчет формы мои ребята, конечно, привирают. На таком значительном расстоянии даже шестикратный «цейс» не может определить обмундирование кавалеристов.

Однако не век же взирать друг на друга издалека. Я приказываю дозорам шагом продвинуться вперед и, не подходя на близкое расстояние к лаве, постараться разглядеть ее. Отбираю людей на лучших конях. Казаки съезжают с холма и отрываются от нас. Поддерживая их, мы трогаемся за ними шагом, внимательно следя за действиями полуэскадрона. Расстояние уменьшается. Цепь по-прежнему неподвижна и как будто бы не намерена ни отходить, ни приближаться к нам.

Меня охватывают радостные надежды.

Кажется, это англичане. Конные фигуры растут, и я ясно различаю на пиках несколько флажков, чуть колеблемых ветерком.

— Англичанцы. Ей-богу, англичанцы! — шепчет возбужденный Товстогуз.

В ту же минуту цепь, к которой мы приближаемся, встречает нас грохотом неожиданных выстрелов. Конные беспорядочно палят, и пули со свистом проносятся над нами.

— От сукины дети! — кричит Товстогуз и, не ожидая моего приказанья, бросив поводья, прямо с коня, начинает бить из пулемета по лаве.

Остальные казаки в свою очередь открывают огонь, и перед моими удивленными глазами неприятельская цепь стремительно поворачивает назад и во весь карьер мчится обратно, рассыпаясь в паническом бегстве по долине.

— Попал! Одного сбили! — вопят казаки и с диким ревом скачут вперед, к месту, где катается по земле раненый конь.

Все происходит неожиданно быстро и стихийно.

Я не успеваю открыть рта для команды, как обстрелявший нас противник исчезает за холмами.

Когда мы домчались до дороги, у которой только что находился полуэскадрон, раненый конь уже бился в агонии; возле него с простреленным горлом хрипел одетый во френч индус, на маленьких погончиках которого медным блеском сверкали цифра «17» и буквы «NJ».

Итак, это были англичане!

Первая встреча с союзниками завершилась зря пролитой кровью.

По дороге за холмами еще курится поднятая ускакавшими пыль.

Обыскиваем убитого. Ничего, кроме записной книжки, испещренной странными, непонятными буквами. Наскоро царапаю донесение:

«Встретился с английским полуэскадром, который, приняв нас за противника, обстрелял разъезд ружейным огнем. Нашими ответными выстрелами убит один индус. После перестрелки полуэскадрон в расстройстве отошел на юг. Принимаю меры для связки и соединения с ним. Считаю необходимым ваше продвижение до дороги, лежащей верстах в шестнадцати от вас. При сем направляю для господина переводчика записную книжку, найденную на убитом».

Заклеиваю конверт и отсылаю донесение. Казаки нервничают. Встреча с англичанами взволновала их. Рысим по пыльной шоссированной дороге вслед за ускакавшим эскадроном.

В дорожной пыли — крупные следы кованых копыт. Проскакиваем пригорок и поднимаемся на бугор. Белеющая лента дороги режет зеленые просторы, причудливо вьется в темнеющих кустах и снова расстилается среди изумрудных лугов. Приблизительно в версте от нас по обеим сторонам дороги растянулась конная цепочка полуэскадрона. От нее вдоль по шоссе скачут конные, и откуда-то, из глубины кустов, тянутся серые пехотные цепи. Вдали черной, неуклюжей массой ползет квадратная черепаха. Это или обоз, или выезжающая на позиции артиллерия. Как видно, нас всерьез приняли за противника, и теперь на этом поле по всем правилам военного искусства разворачивается боевая машина. Я останавливаю взвод и, наколов на острие шашки носовой платок, в сопровождении Пузанкова скачу на взмыленном коне к растянутой впереди цепи. Усталый Орел, хрипя и надрывисто дыша, скачет надломленным наметом, и только моя нагайка мешает ему перейти на спокойный шаг. Встречный ветерок колеблет мой импровизированный белый флаг. Радость охватывает меня: «Спасены! Спасены!»

Два прямых, как жерди, затянутых в желтые френчи офицера подсакивают ко мне на своих свежих, вычищенных, как на параде, лошадях. Напрягая все свои смутные знания английского языка, сообщаю им, что наш отряд находится вблизи. Через минуту два моих казака в сопровождении взвода английских драгун отправляются навстречу сотне. Останавливаю, спешиваю свой разъезд на холме. Со всех сторон к нам беспорядочно стекаются английские и индийские солдаты. Они глядят на нас, как на диво, и наперебой засыпают непонятными вопросами. Часто слышится слово «рашэн», произносимое тоном почтительного восхищения. Но вот появляются офицеры, раздается команда, и вся толпа, так тепло приветствовавшая нас, неохотно покидает холм, на котором остаемся мы с полуэскадроном кавалеристов.

Внизу невдалеке виден белеющий аккуратными рядами палаток английский лагерь, еще дальше — голубые воды Тигра, зеленые поля и бесконечные, тянущиеся к югу по обоим берегам реки финиковые рощи.

Пьем коньяк из любезно предложенных нам фляг, жуем галеты с вареньем. Но англичане вежливо отклоняют все попытки вступить с ними в разговор, притворяясь, будто не понимают меня.

Странная встреча. Почему нас остановили вдали от лагеря и так быстро прогнали бросившихся нам навстречу солдат? При взгляде на развернутый вокруг полуэскадрон у меня невольно мелькает горькая мысль: «Как будто в плен попали».

Прошли сутки с того момента, как мы «соединились» с англичанами и наша измученная сотня обрела долгожданный отдых.

Чувство смутного разочарования значительно усилилось. Когда наш разъезд поджидал на холме подхода сотни, я понял, что английские офицеры кого-то ждут. Действительно, через несколько минут в сопровождении четырех конных драгун к нам подскакал английский майор. Он резко вскинул два пальца к козырьку своего пробкового шлема и, глядя куда-то мимо меня, быстро опустил их.

Я молча откозырял, выжидательно глядя на сытое, выхоленное лицо офицера, по всем признакам мало знакомого с тем, что такое походная жизнь.

— Майор Джекобс. Прислан из штаба генерала Томсона. Рад встретить храбрых казаков русской армии,— произнес он довольно гладко по-русски, старательно выговаривая слова.— Прошу оставаться на месте и, когда подойдет весь отряд, следовать за мною. Вам отводится деревня Аль-Гушри, в пяти милях отсюда.

В его сухом, официальном тоне не слышалось не только радости по поводу нашего благополучного прибытия, но даже просто дружелюбных ноток, как будто бы мы не прошли тысячи верст через горы и пустыни по тылам врага, а совершили маленькую увеселительную прогулку.

— Благодарю за встречу, господин майор, но в сотне много больных и есть раненые. Им нужна немедленная помощь.

— К сожалению, не могу изменить приказа генерала Томсона. Все нужное ожидает вас в Аль-Гушри. Там ваши люди оправятся, отдохнут, приведут себя в порядок, и тогда, после медицинского осмотра, вы получите место в нашем лагере.

— Карантин? — невольно срывается у меня с языка возмущенный вопрос.

Майор холодно глядит поверх меня и, не устаивая ответом, подносит к глазам бинокль, направляя его вдаль.

Я оглядываюсь. Наша «лихая», «непобедимая» сотня приближается к холму, но, боже, в каком состоянии!

Впереди едет Химич. За ним двигаются трое конных носилок, на которых лежат Гамалий, Аветис и Никитин. Далее — кто верхом, кто ведя в поводу понурого, спотыкающегося коня, кто и совсем без лошади — бредут нестройной толпой казаки. Некоторые сняли сапоги и идут босиком с закатанными по колени штанами. Едва держащиеся на ногах, с желтыми, исхудалыми лицами и запавшими глазами, очерченными темными кругами, они действительно представляли жалкую картину.

«А ведь майор прав, — думаю я, припоминая слова Гамалия о том, что наш рейд должен служить допингом для английских войск. — Понятно, что в таком виде наша сотня вряд ли сможет поднять упавшее настроение английских солдат».

Химич, подстегивая упирающегося коня, подъезжает ко мне.

— Борис Петрович! Там человек пятнадцать лежа на легли. Свалились — и ни в какую! Силов нет их поднять.

Майор окидывает взглядом запыленную, пропотевшую фигуру прапорщика и, чуть сдерживая ироническую усмешку, небрежно бросает:

— Их подберут наши санитарные фуры. Далеко остальные?

Химич смотрит на франтоватого англичанина, комфортабельно развалившегося на широкой спине откормленного рыжего гунтера.

— Да так, версты две, кабы не с гаком, — говорит он, пытливо оглядывая майора.

— Итак, здесь место сбора вашего эскадрона. Дальше двигаться нельзя. Когда подтянутся остальные, вас проведут в деревню.

Джекобс отворачивается от нас и цедит что-то сквозь зубы одному из драгун. Тот рвется с места в галоп. Кто-то из казаков вздыхает:

— А наши кони с ветра валятся.

Химич косится на майора, невозмутимо озирающего горизонт.

Я смотрю на близкий английский лагерь, откуда к нам долетает неясный шум. У дороги суется люди, кое-кто забирается на крышу арабской сакли, чтобы лучше рассмотреть нас. Но ни один солдат, кроме тех, что прибыли с майором, не приближается к нам. «Странная встреча», — вновь мелькает в голове.

Понемногу, один за другим, подъезжают и подходят отставшие казаки. Вся сотня налицо. Вся сотня! Какой злой насмешкой звучат эти слова! А товарищи, которых мы оставили в оди-

ноких, затерянных могилах на нашем страдном пути? Всей сотни давно уже не существует. И для чего все эти жертвы? Для того, чтобы «прийти на помощь» этой купающейся в довольстве, «мирно воюющей» союзной армии?

Я подъезжаю к Гамалию. Есаул лежит в забытьи. Его открытые воспаленные глаза не мигая смотрят в ясное небо. Его бешмет расстегнут. Загорелое лицо с небритым подбородком резко выделяется на фоне белой шеи.

— Иван Андреевич! — тихо окликаю командира.

— Без памяти. Тридцать девять и семь, — устало говорит фельдшер, сам похожий на бродячую тень.

Машу рукой и отъезжаю назад.

— Нужна срочная помощь. Командир сотни без сознания, — резко говорю майору.

— Сейчас подойдут санитарные фуры и с ними медицинский персонал. Дайте короткий отдых людям, и через полчаса прошу двигаться за мной, — взглянув на часы, все так же сухо, начальственным тоном бросает Джекобс.

Арабский поселок Аль-Гушри стоял на правом берегу Тигра и состоял из двух десятков низких ханэ с плоскими крышами, на которых вялились инжир и финики. Густые рощи пальм тянулись по обе стороны реки. Плоскодонные кирджимы¹ и остроносые лодки стояли на приколе у свай, вбитых в илистое дно. Грязноватая вода плескалась о берег, обмывая обнаженные корни повисших над рекой пальм. Верблюжий помет, обрывки бумаги, кожура от фиников колыхались на ней. Собаки копались в отбросах, сваленных у реки. Чайки кричали в воздухе, и темные бакланы парили над водой.

Жители Аль-Гушри с изумлением и любопытством разглядывали толпу оборванных, неизвестно откуда и зачем прибывших людей.

Английские санитарные фуры, большие вместительные повозки, обтянутые толстым полотном с нашитым на боках красным крестом, поставлены у реки. Прикомандированный к нам санитарный пост состоял из фельдшера и двух сестер милосердия.

Майор Джекобс и его драгуны довели нас до поселка, где уже находился взвод австралийских солдат, удивленно и мол-

¹ Род барки.

ча разглядывавших нас. Две английские походные кухни, большие кипятильные чаны и пять резиновых ванн составляли весь предоставленный нам инвентарь.

— А это чего такое? Невжели мыться? — с удивлением спрашивают казаки, оглядывая похожие на огромные калоши ванны.

— От нехристи, и баньки как следует не умеют сделать, — покачивая головой, говорит Востриков, щупая резиновые борта ванны.

— Ваше благородье, разрешите, мы сами баньку соорудим. Нехай англичане у нас этому делу поучатся, — просит Никитин.

Он еще слаб, его слегка лихорадит, но большие дозы хинина уже оказывают свое действие.

Полуодетые казаки, опираясь кто на палку, кто на плечо соседа, группами и в одиночку медленно обходят посслок. Любопытство не покидает их. Они бродят по улочке, заглядывают во внутренности хижин, кивают и улыбаются арабам, безмолвно, но гостеприимно встречающим их. Только очень больные и усталые люди остались лежать по ханэ.

— Вашбродь, есаул опамятовался, вас кличут! — слышу я за собой голос Горохова.

Командирский вестовой выглядит довольно браво. Его русые усы подкручены вверх, а на лице играет давно уже не появлявшаяся улыбка.

— Что, брат, рад, что добрались? — спрашиваю я.

— Дак что добрались — радости мало. Вот когда обратно возвернемся живехоньки, тогда и попляшем, — неторопливо отвечает он.

— Ну ладно, философ. Доложи командиру: сейчас приду. — И, отдав приказания Никитину, иду к ханэ, в которой находится Гамалий.

Есаул лежит на больничной койке, под белым кисейным пологом. Английская сестра милосердия возится у раскладного столика, на котором видны шприцы, склянки и большая розоватая бутылка.

Пахнет йодом, камфарой и чем-то специфически аптечным.

Лицо Гамалия бледно, но впалые глаза горят энергическим блеском. Подбородок тщательно выбрит, усы так же лихо, как и у Горохова, подкручены вверх. Он приветливо улыбается и, приподнимаясь на локте, говорит:

— Ну, добрались, спасибо вам, Борис Петрович! Крепкий вы оказались казачина. А я рассыпался, как институтка.

— Что вы, Иван Андреевич, без вас я и двух переходов не сделал бы. Вы привели нас сюда, вы спасли сотню. А что свалились — это случайность, с любым могло произойти.

Гамалий ласково глядит на меня и тихо смеется:

— Ну, как люди? Никто не отстал, не погиб?

— Никак нет. Все девяносто семь налицо. Трое особенно сильно ослабевших лежат в английском околотке, остальные быстро оживают.

— Приходят в себя? — тихо переспрашивает Гамалий и так же тихо, кажется, даже не мне, а отвечая своим мыслям, говорит: — Настрадались, намучились казаки, хлебнули горя в этом походе. А для чего? — еще тише договаривает он.

Я смотрю на есаула.

За весь долгий, тяжелый путь в первый раз он сказал то, что иногда читалось в его умных суровых глазах. Меняю тему:

— А хорошо здесь, Иван Андреевич. Река, пальмовые рощи, тень, влага...

Но он так же тихо перебивает меня:

— Как кони? Сколько потеряли в пути от того проклятого, малярийного места?

— Одиннадцать. Да трех пристрелили здесь.

Он молчит, потом тихо говорит, показывая глазами на англичанку:

— Зайдите через полчаса. Сейчас эта любезная дама будет делать мне уколы и какое-то противомаларийное вливание. Потом она уйдет, и мы поговорим поподробнее. Отчего шумели казаки и как вы встретились с англичанами? — еще тише спрашивает он.

По его словам я понимаю, что он кое о чем уже знает.

Иду к Аветису. Бедный переводчик сильно сдал, лицо его желто, как лимон, нос заострился, но он весело улыбается и, хватая меня за руку, говорит:

— Дошли! Ну слава богу. А я, признаться, уже потерял надежду.

— Как здоровье, Аветис Аршакович? — спрашиваю я, глядя на его исхудавшие руки.

— Прекрасно! Через день лезгинку плясать буду! Ведь все-таки дошли! — с восхищением говорит он. — О, русские солдаты — это... — он ищет слова, — орлы, богатыри... — И вдруг, взмахивая рукой, кричит: — Люди чести и долга!

Я успокаиваю возбужденного Аветиса:

— Кушали?

— Ел какие-то консервы, пил ром, глотал хину. Словом, ожил! А как есаул? — спрашивает он.

— Поправился. Завтра будет на ногах.

— Герой! Сказочный богатырь. У нас такие в народном эпосе встречаются, — восторженно говорит Аветис и затем убежденно добавляет: — О нем будут вспоминать. Не может быть, чтобы не нашелся писатель и не рассказал о нас, о сотне русских людей, совершивших этот беспримерный переход.

Я думаю о только что сказанных Гамалием словах и, глядя в блестящие от возбуждения и болезни глаза Аветиса, как бы невзначай говорю:

— Поход-то беспримерный. А вот только... зачем?

Лицо переводчика темнеет, глаза теряют блеск, и в них мелькает сдержанная горечь.

— Я этот вопрос не раз задавал себе в пути, во все дни тяжелых страданий, но так и не нашел ответа.

На мгновение он умолкает, как бы собираясь с мыслями.

— Быть может, здесь узнаем это. А там ни генерал Баратов, ни майор Робертс ничего не объяснили. Как вас встретили англичане? — вдруг спрашивает он.

— Никак. Пока я видел их только издали, если не считать одного майора да десятков двух солдат, присланных оберегать нас. И вообще незаметно, чтобы нами очень интересовались и что наш приход доставил кому-либо удовольствие. Никто из англичан до сих пор даже не спросил о том таинственном, секретном пакете, ради доставки которого нас послали сюда.

— Странно... странно, — как бы про себя говорит Аветис. — Но зачем же тогда надо было гнать? Зачем спешить?

Я поднимаюсь с места и говорю, глядя на часы:

— Пойду к есаулу. Вероятно, врачи уже окончили осмотр. А вы поправляйтесь. Теперь вы, с вашим знанием английского языка, особенно нужны нам.

— Я завтра же буду на ногах, — уверяет Аветис, пытаюсь вскочить, но я легко укладываю его на койку и спешу к есаулу.

Тридцать минут уже текли.

— Ну-с, дорогой мой сотник, пойдете-ка по селу, поглядим на людей, — поднимаясь с топчана, говорит Гамалий.

Я останавливаюсь в изумлении. Есаул одет в новенькую гимнастерку с серебряными, а не защитными погонами на ней. Талия его ловко перехвачена ремешком с набором, кинжал отливает серебром, а из кобуры глядит рукоятка нагана с золоченой насечкой.

Есаул смеется. Он бодр, подтянут и, если б не чуть воспаленные глаза с синевой под ними, выглядел бы совсем молодцом.

— Метаморфоза! — развожу я руками. — А не рано ли, Иван Андреевич? Как бы опять не свалиться?

— Не-ет, батенька, теперь меня и пулей не свалишь. Сейчас нам всем надо подтянуться. Надо союзничкам показать, какие мы есть.

Я ясно понимаю, почему он через силу заставил себя подняться с постели. В его резких, порывистых движениях, в нежелании задать вопрос об оказанном нам англичанами приеме чувствуется настороженная озабоченность, недовольство.

Выходим во двор. Небольшой глиняный дувал¹, верблюжий помет, конский навоз, десяток копающихся в нем кур и гоготанье гусей и уток, плещущихся в реке, — все это напоминает станицу, мирный уголок, тихую жизнь, от которой мы давно отвыкли. Несколько казаков в подштанниках и белых рубахах возятся с конями на берегу. Кто-то проехал мимо. Дым от разведенного костра, ароматы борща и жарящегося сала заполнили предвечерний воздух. Войной здесь и не пахнет. Этот тихий, уютный край, по-видимому, еще ни разу и не слышал грохота орудий или треска пулеметов.

— Майор Джекобс сказал, что мы вышли не в ту точку, где они нас ожидали. По его словам, неделю назад нам навстречу были высланы отряды севернее этого места.

— Севернее... не в ту точку... — в раздумье, видимо машинально, повторяет Гамалий мои слова, думая о чем-то другом. — А вы бы послали этого самого майора, — вдруг резко говорит он и, сдерживаясь, заканчивает: — В ту самую точку, где господа англичане так пунктуально и терпеливо ожидали нас.

Я смеюсь и люблюсь внезапно оживившимся, покрасневшим лицом Гамалия.

— Майор также говорил, что фронт находится верстах в восемнадцати отсюда и что при таком уклонении мы могли попасть прямо в лапы туркам.

— А он не знает, что мы весь наш переход были в лапах у турок и тем не менее уходили у них между пальцев? Казаки — это им не Таунсхенд с его Кут-эль-Амарой.

Впервые за долгое время Гамалий сильно и очень образно, по-казацки, выругался сквозь зубы.

¹ Забор.

Мы идем по поселку. Казаки уже обжились в нем. Кто-то тонким, бабьим голоском поет за деревьями станичную песню:

...Нету, нету коню сена,
Казак-ку-у — квартэ-э-ры...

— Ожил Скиба, даже запел,— смеется есаул.— Хороший признак. Если казак поет, значит, сыт, здоров и не скучает.

Двое молодых, Перепелица и Сердюк, стирают белье прямо на берегу, опуская его в реку; рядом с ними, переваливаясь, идет вереницей стая гусей; в стороне арабские женщины, окруженные десятком ребятишек, с любопытством, украдкой поглядывают на казаков, сейчас же отводя в стороны взоры и ожесточенно полоща в воде какие-то тряпки.

— Что, молодцы, добрались? — спрашивает есаул.

Перепелица оглядывается и, оступаясь, шлепается в воду вместе с бельем под негромкий смех и возгласы арабок.

— Ну як? Живый, чи не втоп? — спрашивает Гамалий выбирающегося из воды казака.

— Живый, вашкобродь, нехай турки вмирают, хай им бис,— отряхиваясь, говорит Перепелица и принимается снова за стирку.

У коновязей понуро стоят наши уставшие кони. Да, с ними труднее, нежели с людьми. День отдыха, хорошая ночевка, сытный обед, стакан водки — и казаки опять бодры, здоровы, готовы в путь. Но коней надо выдержать на покое несколько дней — кормить, растирать их холки, ноги и спины, подлечить и почистить их. Им нужен по меньшей мере недельный отдых. Я говорю об этом есаулу.

— Не-ет, Борис Петрович, послезавтра, не позже, я выведу нашу сотню в боевом строю, как на парад, перед англичанами. Зачем медлить? Пусть полюбуются и удивятся «союзнички», — иронически протягивает он.

— Удивятся? — повторяю я.

— Да, удивятся стойкости, силе воли и духу казаков. Я не хочу, чтобы о русском солдате даже,— он снова цедит сквозь зубы,— «друз-зья» думали, что он неженка, что его могут сломить какие-либо испытания. Суворовские чудо-богатыри перевалили с боями Альпы и, разбив врага, с песнями пришли в Муттенскую долину.

— Но англичане оттягивают торжественную встречу. Майор Джекобс сказал, что ее устроят дней через пять—семь.

— К черту Джекобса! Завтра же еду в штаб английского командования и сам заявлю о себе. Кстати, вы не забыли поставить в известность майора, что мы везем чрезвычайно важный секретный пакет от майора Робертса и что я должен незамедлительно вручить его генералу?

— Конечно. В первый же час нашей встречи.

— И что он сказал?

— Доложит об этом командующему, хотя тот, вероятно, уже предупрежден по беспроволочному телеграфу.

— А мы-то гнали, торопились с доставкой этой «почты», не позволяли себе лишней дневки, заморили людей. И вот теперь сверхсрочный пакет уже второй день лежит в моем кармане. Э-эх!

Есаул сразу обрывает и меняет разговор:

— Как Аветис? Очень расхворался, бедняга?

— Обещает завтра быть на ногах.

— Отлично! Вы говорите по-английски?

— Слабо, понимаю кое-что. Я изучал французский.

— Очень жаль, но делать нечего. И прошу вас: не проговоритесь даже, — он понижает голос, — перед Аветисом о том, что я знаю английский язык. Иногда выгодно скрывать свои знания.

— Понимаю, Иван Андреевич, будьте спокойны.

Мы медленно обходим село, коновязи, расположение казаков, провожающих нас взглядами и веселыми приветствиями, и возвращаемся в ханэ.

У кухни толпятся казаки — кто с чашкой, кто с котелком, некоторые, обедающие группами, с ведерком.

Гамалий принюхивается к запаху кушанья и спрашивает Вострикова, уже смачно, с чавканьем уплетающего свою порцию:

— Ну как, герой, хороша английская еда?

— Хороша, да не дуже. Напихалы, чертови диты, в котел и сала, и мяса, и крупы, так им ще мало показалось, воны туды ще и сахару сунули.

— Как сахару? — смеется Гамалий.

— Так точно! Один край мяса сладкий, другой — кислый.

— Вашскобродь, — просительно говорит вахмистр, — сотня просит: ежели возможно, нехай англичцы нам продукт дают, а уж мы сами на своей кухне пищу готовить будем.

— Это можно, — соглашается Гамалий. — Орлы! Много ли казаку надо? Ночь поспал, белье сменял, брюхо набил — и опять в седло, — говорит есаул, уходя, но я вижу, что ему далеко не до шуток. Какая-то дума беспокоит его.

Ночью, обходя посты, натыкаюсь на Горохова. Село спит, люди и кони отдыхают. Уже третий час, недалеко и до зари. Что нужно командирскому вестовому в такой поздний час?

Я окликаю его.

— Кипяточку шукаю для командира,— говорит он.

— Как? Опять нездоров?

— Никак нет, здоров, только не ложится, все чего-то пишет. Походит-походит да опять за бумагу берется.

— Да где же ты сейчас найдешь кипяток?

— На кухне. А нет, так на щепках разогрею.

Захожу в ханэ Гамалия. Он сидит за столиком, две свечи скудно освещают убогую саклю. Есаул с досадой зачеркивает написанную фразу и, не поднимая головы, говорит:

— Ну как, будет чаек, Горохов?

— Будет, Иван Андреевич. Вы что же это, стихи сочиняете? — отвечаю я.

— Стихи,— сердито буркает Гамалий,— генералу Томсону. Готовлюсь к встрече с ним. Обдумываю вопросы и ответы этому доблестному вояке.

— Стоит ли? Попейте лучше чаю — и спать,— советую я.

— Стоит,— сдвигая брови, говорит Гамалий.— Завтрашняя встреча может многому научить меня.

В дверях появляется Горохов:

— Вашскобродь! У цых, чертяк, все не так, як у людей,— ни щепок, ни дров не напрочишься. Разбудил я повара-английца, показываю ему чайник: кипятку, мол, командиру надо, а он кулак под нос тычет.

— А ты? — смеется Гамалий.

— А я ему — два. Он ругается — да снова спать. Плюнул я та и пошел обратно.

Мы смеемся.

— Может, спирту выпьете? — предлагает в сердцах Горохов.

— Можно и спирту. Разведи-ка нам с сотником по полпорции,— говорит Гамалий. «Полпорции» на его языке означает полстакана.

Мы выпиваем, и я ухожу к себе, оставляя есаула над исчерканной, исписанной бумагой, по которой он готовится к завтрашней встрече.

Около семи часов утра легкое прикосновение руки вестового будит меня.

— Вашбродь, вставайте, командир просят, к ним прибулы английский начальник.

Быстро одеваюсь и спешу к Гамалию. У есаула в картинно-церемонной позе сидит майор Джекобс с каким-то незначительного вида капитаном. При моем появлении оба англичанина чопорно привстают, одновременно отдав честь кончиками пальцев. Аветис Аршакович, выбритый, подтянутый, с едва заметной улыбкой на бледном, осунувшемся лице, кивает мне головой.

— Вы уже знакомы, поэтому продолжим разговор,— говорит есаул и поясняюще добавляет: — Сотник не спал всю ночь и вообще все эти дни один нес службу за всех офицеров. Извиним ему опоздание.

Англичане молча щелкают каблуками и садятся.

— Итак, господа, сейчас половина восьмого. К десяти часам я буду иметь честь явиться к командующему войсками данного участка генералу Томсону для представления рапорта о прибытии сотни.

Аветис Аршакович собирается переводить, учитывая, что капитан не понимает по-русски, но майор Джекобс прерывает его и, сухо улыбаясь, говорит:

— К сожалению, это пока невозможно. Генерал назначил вам прием на завтра. О часе вам будет сообщено дополнительно. Текущие обязанности по руководству войсками не позволяют ему сделать это сегодня.

— Тем не менее, выполняя приказ своего начальства, я ровно в десять часов буду на пункте Дераа. Так, кажется, называется место расположения штаба?

Джекобс наклоняет стриженую голову.

— Перед отправлением в поход сотни генерал Баратов приказал мне по соединении с британскими войсками немедленно явиться к командующему и сдать ему важный пакет от майора Робертса. Примет или не примет меня генерал Томсон — это дело его превосходительства; что же касается меня, то я должен выполнить приказ.

— Все это нам уже известно, но генерал Томсон примет от вас пакет завтра,— упрямо повторяет майор.— Если же вы торопитесь с передачей, то сдайте его мне, и я сегодня же вручу его генералу.

— Господин майор,— вставая, чеканит Гамалий,— мне приказано лично отдать пакет, в собственные руки старшему начальнику встреченного мною соединения британских войск. Насколько мне известно, таковым являетесь не вы, а генерал Томсон. Поэтому я могу вручить пакет только ему. Вверенная мне сотня прошла свыше тысячи верст через горы и пустыни,

по тылам неприятеля, каждую минуту рискуя погибнуть. До сих пор данный мне приказ был точно выполнен, и он будет выполнен до конца.

Голос Гамалия спокоен, лицо строго и непреклонно.

Англичане поднимаются, и майор деревянным голосом говорит:

— Я доложу генералу о вашем настоятельном требовании. Кстати, он поручил мне справиться о вашем здоровье и о состоянии эскадрона.

— Поблагодарите генерала. Сотня в порядке. А о деталях я сам расскажу генералу.

Англичане встают, козыряют и направляются к двери. На пороге Джекобс задерживается и в виде последнего аргумента конфиденциально сообщает Гамалию:

— Видите ли, генерал нарочно отсрочил ваше представление, чтобы иметь возможность одновременно порадовать вас сюрпризом. Дело в том, что о вашем героическом походе сообщено по радио в Лондон, и мы с минуты на минуту ждем телеграммы о награждении офицеров и казаков эскадрона орденами Британской империи.

— Русское командование будет чувствительно к проявлению такого внимания, но для нас награды — дело второстепенное. Приказ есть приказ, и я, как солдат, обязан ему повиноваться. Итак, ровно в десять часов я буду в Дераа. Надеюсь увидеть вас там, господа, — вытягиваясь во весь свой атлетический рост и отдавая честь, решительно говорит Гамалий.

Он был так великолепен в эту минуту, что я залюбовался им.

Англичане вскакивают на коней и берут сразу в карьер. Шестеро драгун, закинув за спины болтающиеся пики, вразброд скачут за ними.

— Недовольны, голубчики, даже эскорт растеряли, — провожая взглядом кавалькаду, смеется Гамалий и тут же кричит: — Горохов! Быстро чаю, да не осталось ли у нас клюквенного экстракта?

Ровно в девять часов Гамалий выходит из ханэ. Коричневая парадная черкеска, белый бешмет, прекрасная папаха — все лучшее, что лежало в сумах есаула, теперь на нем. Георгиевская лента темляка обвивает рукоятку шашки.

— Хорош? — спрашивает он меня. — Так надо! В этих краях друзей встречают по одежке.

Ему подают коня, и он легко вскакивает в седло. Аветис, просветлевший и тоже принаряженный, уже сидит на своем маштачке. Двое казаков попридерживают коней, третий же, приказный Донцов, держа в руке развевающийся сотенный значок, рысит за Гамалием. Через минуту вся группа несется по дороге.

— Вашбродь! — окликает меня Пузанков. — Дело есть до вас.

Мой «Личард» мнетя и почесывает затылок, что является у него верным признаком неспособности отыскать подходящие слова.

— Ну, говори, — что там такое?

— Вашбродь, казаки спрашивают: не рады нам, што ли, английцы?

— Почему они так думают? Кормят, может быть, вас плохо?

— Нет, вашбродь, дают всего вдосталь, сыты и довольны едою казаки. Только смотрят на нас как-то чудно.

— Как это чудно?

— Да так, будто мы не люди, а диковинные звери, орда вроде, што ли.

— Вероятно, это просто потому, что они еще никогда в жизни казаков не видали.

— А хибя мы раньше английцев та индийцев бачили? А все ж глаз на них не таращимо. Та и не на солдат ихних, вашбродь, казаки жалятся. Солдаты ихни, особливо индийцы, просты, душевны. По-своему што-то лопочут. Што — не понять, а видно, щось доброе. А от майор, об нем речь. Он вовсе волком на нас глядит. Едет утром мимо сотни, так и скосоворотился. Солдат своих до нас не допускает, вроде мы им неровня. Казакам це дуже обидно, вашбродь. Сколько муки мы приняли, щоб де них дойти, а тут — на тебе! — горестно разводит руками Пузанков.

Что я могу ему сказать? Разве он не выражает мои собственные невеселые мысли?

Конский топот прерывает мои размышления.

— Вашбродь, квиток от командира, — передавая записку, докладывает подскакавший казак.

Развертываю и читаю:

«Борис Петрович! Передайте командование Химичу, а сами, забрав все мешки с английским золотом, выезжайте за мною. Извините, что потревожил, но вспомнил о деньгах только сейчас. Догоните в пути. Подождем вас где-нибудь под пальмой.

Гамалий».

Через несколько минут хурджины с «кавалерией святого Георга» навьючены на мула, и я с двумя казаками, охраняющими груз, выезжаю из села. Тигр, широкий и мутный, катит свои желтые воды слева от дороги, то теряясь в зелени рощ, то вновь проглядывая между деревьями. Справа, верстах в четырех, начинается пустыня, тянущаяся до Евфрата.

Еще нет и десяти часов, но солнце уже накалило тяжелые шуршащие пески. Не проехав и двух верст, вижу Гамалия, сидящего у реки и с увлечением кидающего камешки в воду.

— В кого это вы, Иван Андреевич? — осведомляюсь я в шутку.

— Развлекаюсь. Ослабли и затекли руки. Привезли деньги? — окидывая взглядом мула, спрашивает он. — В таком случае — по коням!

Мы едем рядом, стремя в стремя, с Гамалием. Только теперь я замечаю, что на почтительном расстоянии позади нас рысят трое австралийских или новозеландских драгун. Аветис Аршакович отстал и о чем-то разговаривает с ними.

— Это что, случайные попутчики? — спрашиваю я.

— Нет, — усмехается Гамалий. — Майор Джекобс хотел показать свою любезность и выслал нам навстречу почетный эскорт.

Впереди по реке, поднимая над собою черные клубы дыма и грузно осев в воде, идет плоскодонный монитор. Из двух его боевых башен поглядывают стволы крупных калибров. Десятка два матросов, облепив палубу и борта, с любопытством взирают на нас.

— «Лион», — читаю я выведенное крупными буквами название.

— «Лайон», — поправляет меня Гамалий. — У них ведь все читается не так, как написано. Значит — «лев». Символ британского могущества. Аветис Аршакович, — обращается он к догнавшему нас переводчику, — о чем это вы там с ними беседовали?

— Узнавал, далеко ли отсюда фронт. Говорят, что верстах в пятнадцати — двадцати. Но они в боях еще ни разу не были. Их бригада лишь недавно прибыла из Бомбея. Да, видно, что фронт этот особенный. Второй день как мы здесь, а ведь ни одного артиллерийского выстрела не слышно. Между прочим, любопытно: солдатам рассказывают, будто русские совсем близко, что мы лишь разведка крупных, движущихся на соединение с английской армией сил и что турки почти не имеют

войск, оттого-то сотня и смогла пройти беспрепятственно через их тылы. Меня спрашивали, правда ли это, и я не знал, что им ответить.

— Скажите им, что это военная тайна,— смеется Гамалий.

Дорога вьется между деревьями. От близости Тигра и от густой тени пальм в рощице прохладно, но временами ветер доносит жгучее дыхание раскинувшихся справа песков, как будто внезапно открыли дверцу раскаленной печи.

Река становится шире.

Чаще показываются военные суда. Мы насчитываем их около десятка. Поглядывая на них, Гамалий качает головой:

— Имеют такую бронированную флотилию, а до сих пор не только не взяли Багдада, но еще откатились к тому месту, где высадились полтора года назад. Оригинальная война, что и говорить.

Раза два нам встречаются эскадроны индусской конницы, в роще поблескивают стволы батарей. Английские пехотинцы, в хаки, в коротких бойскаутских штанах и с пробковыми шлемами на головах, с удивлением смотрят на нас. Подъезжает какой-то лейтенант и, узнав от Аветиса, что это направляются в штаб офицеры прибывшего русского отряда, козыряет и предлагает свои услуги.

Наконец, сопровождаемые драгунами Джекобса и молодым лейтенантом, мы въезжаем в Дераа. Большое село, домов в семьдесят — восемьдесят, с мечетью, пристанью и базаром, выглядит живописно среди тенистых пальмовых садов, мощно разросшихся по берегу.

Возле большой ханэ, принадлежащей, по-видимому, зажиточному арабу и выгодно выделяющейся среди соседних хибарок, попарно стоят часовые и прохаживаются офицеры. В стороне разбита большая, «парадная», палатка зеленого цвета. Вход в нее охраняет драгун с обнаженной саблей. Вблизи него в землю воткнут значок с изображением льва, над которым скрещиваются средневековые мечи.

— Здесь! — говорит лейтенант и, соскочив с коня, спешит в палатку.

Двое офицеров с красно-зелеными повязками на рукавах подходят к нам.

— Дежурные по штабу генерала Томсона,— переводит их слова Аветис Аршакович.

Мы отдаем честь, соскакиваем с лошадей и ждем, когда нас пригласят к генералу. Вокруг собирается все растущая толпа

офицеров и солдат. Кто-то выглядывает из окна ханэ и тотчас же исчезает. Мелькает косынка сестры милосердия. Солдаты весело поглядывают на нас, рассматривают диковинную для них форму, дружелюбно кивают головами. Кто-то из них, подняв над головой руки, беззвучно аплодирует. Десятка два бородатых индусов в белых чалмах, стоя отдельно от англичан, приветливо улыбаются нам и помахивают руками.

— Долго нас тут будут держать? — с раздражением говорит Гамалий. — Аветис Аршакович, скажите господам дежурным, что я прошу немедленно доложить генералу Томсону о прибытии русских офицеров.

Но Аветис не успевает сказать, как из палатки выходит пожилой невысокий офицер и, выжимая на лице подобие приветливой улыбки, что-то говорит.

— Подполковник Стронг, офицер штаба генерала Томсона, приветствует русских друзей и просит их войти, — переводит Аветис Аршакович.

— Прошу вас отдохнуть, располагайтесь поудобнее. Сейчас генерал занят, но через несколько минут он будет рад принять храбрых русских друзей, — говорит Стронг, представляя нам чинов штаба.

На стенах палатки висят карты, на раскидных стульях — кипы бумаг. Из-за полога, разделяющего палатку на две части, слышится стук телеграфного аппарата.

— Не угодно ли? — показывая на мгновенно появившиеся на столе бутылки, предлагает подполковник. — Эль, сода-виски, легкое индийское вино.

Мы отказываемся, только Аветис Аршакович, томимый жаждой, осушает кружку пенящегося эля.

— Может быть, мороженого или чаю? — вновь предлагает Стронг.

— Благодарю вас, мы с удовольствием воспользуемся вашим гостеприимством, но уже после представления генералу, — вежливо говорит Гамалий.

— Генерал восхищен мужеством ваших казаков. Мы с неослабным интересом следили за вашим походом. О его благополучном завершении уже уведомлено ваше командование.

— Какие новости на фронтах? — интересуется есаул.

— Верден стойко держится. Наши войска ведут позиционные бои во Фландрии. На вашем Юго-Западном фронте готовится, по нашим сведениям, большое наступление. Ваша Кавказская армия взяла Трапезунд, но об этом вы, вероятно, уже знали до выступления.

— А здесь, на месопотамском фронте?

— Все идет согласно намеченному плану. Наши войска без серьезных потерь совершили стратегический отход к Басре. По имеющимся данным, турки по-джентльменски обошлись с генералом Таунсхендом, и взятые ими пленные находятся в хороших условиях.

— Генерал Томсон просит русских офицеров! — докладывает бесшумно появившийся адъютант.

— Прошу вас! — вскакивая с места, торопит нас подполковник и направляется впереди нас в просторную ханэ, над которой развевается британский флаг.

Часовые берут на караул, стоящий в приемной офицер подносит руку к шлему. Дверь распахивается, и мы входим в комнату, в которой стоят трое военных. Один из них, плотный, с седеющими висками и коротко стриженной головой, делает движение вперед. Разноцветная орденская планка и две поперечные нашивки на защитном погоне с черным львом украшают его френч. Другой — наш старый знакомый Джекобс.

— Дивизионный генерал сэр Артур Томсон, — громко произносит майор Джекобс.

Мы разом подносим руки к папахам. Гамалий делает два шага вперед и громким, отчетливым голосом не торопясь рапортует:

— Первого Уманского кошевого атамана Головатого полка казачьего Кубанского войска есаул Гамалий. Честь имею доложить вашему превосходительству, что, согласно приказу командующего экспедиционным корпусом в Персии генерал-лейтенанта Баратова, вторая сотня Уманского полка, посланная на соединение, после перехода через Персидский Курдистан и пустыню Хамрин прибыла в ваше распоряжение. Во время похода в боях с противником убиты один офицер и семь казаков вверенной мне сотни. Срочный пакет, переданный майором Робертсом для английского командования, доставлен в целости.

Слегка вытянув голову, генерал слушает непонятные слова. Джекобс быстро переводит их. Томсон протягивает вперед руки, как бы намереваясь обнять Гамалия, и голосом, не выражающим никаких чувств, говорит:

— Прекрасный поход! Великолепный кавалерийский рейд! Поздравляю с его благополучным окончанием. Он войдет в летопись подвигов конницы.

Пожав нам руки, генерал знаком указывает на стулья.

— Прошу, господа, извинить меня, что принял вас не сразу. Мне было доложено, что ваш небольшой отряд прибыл в очень расстроенном виде. Я хотел дать возможность оправиться и воспользоваться заслуженным отдыхом.

— Ваше превосходительство! — говорит Гамалий, и я слышу в его тоне насмешливые нотки.— Сотня прошла свыше тысячи километров в труднейших условиях, после этого проехать остальные восемь верст до вашего штаба не составляло большого труда для ее командира. Кроме того, при мне срочный пакет, вручение которого вашему превосходительству я не имел никакого права откладывать. Поэтому разрешите мне прежде всего передать его, а затем вернуть вам золото, полученное мною на дорогу от майора Робертса.

Молодой адъютант и двое в белых колпаках и блузках поверх формы вносят напитки, закуски и фрукты.

— Сначала выпьемте за ваше благополучное прибытие,— начальственным тоном говорит Томсон.

— Благодарю вас, ваше превосходительство, но благоволите прежде всего принять доставленный мною пакет.

Тень недовольства настойчивостью этого «азиата», очевидно неспособного оценить проявленное к нему внимание, пробегает по лицу генерала, но тотчас же уступает место прежней сухой флегматичности. Гамалий вынимает пакет из кармана бешмета и передает его генералу.

С выражением полного безразличия генерал принимает большой плотный конверт с пятью аккуратными печатями и небрежным жестом протягивает его через плечо Джекобсу. Тот вскрывает пакет изящным перочинным ножичком и, вынув из него бумаги, возвращает их генералу. Томсон едва достаивает их взглядом и кладет на стол.

Лицо Томсона остается равнодушным, словно это не пакет, ради доставки которого сотня людей была послана на верную смерть, а принесенное адъютантом из соседней канцелярии не представляющее интереса отношение. На лбу генерала видны капельки пота, хотя двое солдат-индусов непрерывно дергают концы опахал, подвешенных у окна и напоминающих собою кузнечные мехи. Это индийские пунки, без которых английские офицеры не мыслят себе войны в жарких странах. Пунки с мелодичным шумом то сжимаются, то расправляются, и струи прохладного воздуха проносятся по комнате.

Я смотрю на лежащие на столе бумаги. По краям они потемнели, углы завернулись и потерлись. Весь поход есаул хранил

конверт в боковом кармане гимнастерки, ни на минуту не снимая ее с себя. Мне вспоминается, как тщательно зашивал он наглухо карман и как Горохов еще раз прошел сукно толстой навощенной ниткой — «для крепости».

Думая о пакете во время похода, я представлял себе, как набросятся на него англичане, как их генералы будут с жадностью читать доставленные им сведения, имеющие, по-видимому, непосредственное отношение к совместно планируемым русскими и англичанами операциям. И вот эти «важные» бумаги сиротливо лежат на столе, никого не интересую, а дуновение пунок ритмично колышет их края.

— Капитан говорил, кажется, о каком-то золоте? — спрашивает генерал, очевидно торопясь покончить с официальными разговорами. — Спросите, Джекобс, что это за золото?

— Это те десять тысяч фунтов стерлингов, которые дал нам на дорогу майор Робертс, — переводит ответ Гамалия Джеребьянц.

— Как? Разве вы израсходовали в пути не все эти деньги? — удивляется Томсон.

— Вся сумма осталась неприкосновенной. Мы расплачивались с населением и курдскими вождями русским золотом, которое я получил от своего командования.

— Русским? И... они брали его? — с плохо скрываемым оттенком недовольства спрашивает генерал.

— Очень охотно. Наше золото высокой пробы, и население прекрасно отдает себе отчет в его ценности. Деньги майора Робертса не понадобились ни разу. Мешочки так и остались опечатанными печатями майора. Разрешите моему офицеру сдать эти деньги штабному казначейству.

Генерал с минуту молчит, недовольно покусывая губы.

— Вы поступили неправильно! — наконец говорит он. — Здесь и в Курдистане — сферы нашего влияния. Население не должно знать иного золота, кроме наших гиней. Ничего, вы исправите ошибку на обратном пути.

— Ваше превосходительство, на возвращение у меня еще сохранилась половина денег, полученных мною в Хамадане. Золото майора Робертса является для меня лишь обузой. Поэтому я настоятельно прошу распоряжения о принятии его от меня.

Генерал сухо бросает: «Хорошо» — и жестом приглашает нас выпить и освежиться.

За бокалом вина генерал, видимо, желает загладить сухость официальной встречи и «осчастливить» своей благосклонностью союзных обер-офицеров, которых он удостаивает гостеприимством.

— Сейчас, господа,— переводит нам Джекобс,— мы беседуем с вами, так сказать, в частном порядке. Могу вам сообщить, что уже с момента вашего выступления в поход наша пресса восторженно описывала предпринятый вами рейд и о нем до сих пор шумят все союзные и нейтральные газеты. Вы стали, таким образом, мировыми знаменитостями.

То, что рассказывает генерал, ошеломляет меня.

— Простите, ваше превосходительство,— с трудом сдерживая себя, говорит Гамалий,— но ведь противник также читает эти газеты. Такая «реклама» могла стоить жизни нашему небольшому отряду.

— Ну, турки не настолько оперативны, чтобы успеть предпринять меры для вашего перехвата. Зато известие вызвало тревогу и растерянность их командования, неспособного вообразить себе, что в рейд двинулся всего небольшой эскадрон. Оно, несомненно, решило, что русские перешли в наступление крупными кавалерийскими силами через неприступные дебри Курдистана. По сведениям нашей разведки, с нашего фронта южнее Кут-эль-Амары уже оттянуто на север несколько полков сувар и пехотных частей. Нажим на наш фронт ослабел. Таким образом, вы видите, что в общих стратегических интересах газетные сообщения о вашем рейде сыграли известную роль. Кроме того, ваш приход взбодрил наши войска. Они воочию убедились, что русские близко.

Гамалий молчит и отставляет бокал с вином, к которому он едва прикоснулся. Генерал продолжает тем же олимпийским тоном:

— Надеюсь, вы знаете обстановку, сложившуюся в Месопотамии. После наших временных неудач у Ктезифона и Кут-эль-Амары нам нужна передышка для перегруппировки армии и для отдыха уставших войск. Сейчас к нам перебрасывают крупные силы, вполне достаточные для будущего наступления, которое, я ни минуты не сомневаюсь, завершится полным успехом. Ваше командование,— генерал принимает сугубо конфиденциальный тон,— предложило помочь нам, организовав совместное наступление на Багдад. Но ваши войска должны наносить туркам удары на севере — в Восточной Анатолии. Мы

восхищены их успехами — взятием Эрзерума, Битлиса, Вана, Трапезунда. Турецкая армия получила сокрушительный удар, от которого ей уж больше не оправиться, что бы ни предпринимали Энвер-паша и Джемаль-паша. Но Багдад, Мосул и все области долины Тигра и Евфрата мы будем брать сами. Для этого у нас достаточно сил. Вы видели на реке мониторы. У турок их нет, а у нас — одиннадцать штук, и через некоторое время к ним прибавятся другие. Багдад будет нашим! — тоном, в котором звучит властная уверенность, повторяет генерал Томсон.

Он осушает бокал, и все английские офицеры следуют его примеру.

— Кстати,— спохватился генерал,— вы говорили, кажется, о потерях вашего эскадрона. Велики они?

— Восемь человек, в том числе мой младший офицер,— насупившись, отвечает Гамалий.

— Ну, это совсем небольшие жертвы,— говорит генерал почти веселым тоном.— Зато вы прославились. Корреспонденты всех представленных при ставке газет только и ждут разрешения проинтервьюировать вас. Между прочим, я вас очень прошу, не забудьте сказать, что вы лишь передовая часть движущихся за вами крупных русских сил.

— Ваше превосходительство, вы только что сами сказали, что ваше командование отказалось от русского плана совместных операций в этих районах, следовательно, других наших войск вы не ждете.

— Хе-хе-хе,— смеется Томсон.— Вы прекрасный офицер, сэр, но вы плохой политик. Такое сообщение необходимо, чтобы наши войска наступали увереннее, в убеждении, что русские окажут им помощь в критический момент. Но, конечно, сюда ваши войска не придут. По существующим соглашениям, каждый из союзников воюет на своих фронтах.

— Кто знает будущее? Русские солдаты обошли весь мир. Они были и во Франции. Орлы Суворова перешли Альпы. Наконец, как видите, мы же пришли сюда. Казаки поят своих коней водами Тигра.

Генерал молча и внимательно всматривается в лицо Гамалия.

— Похвально, когда солдаты любят так свою армию. Но русские сюда не придут. Ваш рейд — исключение, и свою роль он уже сыграл. Это был ход в игре. Другого такого хода не понадобится.

— Хода русским конем? — тихо, но четко выговаривает Гамалий.

Генерал Томсон минуту молчит, переставляя по скатерти пустой бокал, затем усмехается:

— Оказывается, я ошибался. Вы не только отличный офицер, но и хороший политик.

В комнату входит пожилой военный в генеральской форме и протягивает Томсону телеграмму.

— Генерал-майор О'Коннор, начальник штаба отряда,— сообщает Джекобс, представляя ему нас.

Томсон бросает взгляд на телеграфный бланк, который он держит в руке, и передает его Джекобсу.

— «Решением георгиевской думы и приказом главнокомандующего Кавказским фронтом,— переводит по-русски майор,— есаул 1-го Уманского полка Гамалий за проявленное мужество и храбрость награждается орденом Георгия IV степени. Офицеры сотни — золотым георгиевским оружием, все нижние чины — Георгиевскими крестами. Генерал-лейтенант *Баратов*».

— Телеграмма только что получена,— присовокупляет Джекобс.

— Поздравляю, господа, с заслуженной высокой наградой. Надеюсь, что уже завтра вы узнаете и о другом награждении,— говорит генерал Томсон, намекая на то, что нам уже в частном порядке сообщил Джекобс.

Аудиенция окончена. Генерал встает и протягивает нам руку. Вытягиваемся, отдаем честь и покидаем штаб. Майор Джекобс провожает нас.

— Завтра у вас будут представители прессы, не забудьте указания генерала,— напоминает он.— Кроме того, офицеры штаба просят вас пожаловать вечером на обед, чтобы отпраздновать ваше благополучное прибытие.

Прощаемся. Я иду в палатку сдавать «кавалерию святого Георга», а затем наметом догоняю уехавшего вперед Гамалия. Аветиса Аршаковича с ним нет. Он возвращается в Аль-Гушри часа через два, достаточно разрумяненный.

— Представьте себе, господа,— сообщает он нам,— я встретил своего старого коллегу, бывшего английского консула в Багдаде. Он очень обрадовался мне и пустился в откровенности за стаканом доброго шотландского виски. Между прочим, он посмеялся, когда я высказал ему свое удивление по поводу того, что Томсон даже не поинтересовался содержимым нашего сверхсрочного пакета. Оказывается, все то, что в нем было,

Робертс передал уже по радио, за исключением двух своих личных писем, за доставку которых он будет вам, вероятно, очень признателен.

— Я был в этом уверен,— спокойно говорит Гамалий, хотя я вижу, как все кипит и негодует в нем.— И знаете что: хоть на сегодня забудем игру. Горохов! — кричит он.— Чайкю! Да вы-тащи из сум весь остаток моего шоколада. Завтра я куплю себе здесь новый запас.

Ночью я долго не могу заснуть. Передо мною как живые стоят бедный юный прапорщик Зуев, старик Пацюк, умолявший за минуту до смерти о «шматочке льоду», другие дорогие товарищи, оставленные в одиноких могилах на нашем пути. Зачем высшее русское командование послало их на смерть? Затем, чтобы вот эти лощеные, надменные бритты стали твердой ногой на берегах Тигра, не тратя слишком много «драгоценной английской крови».

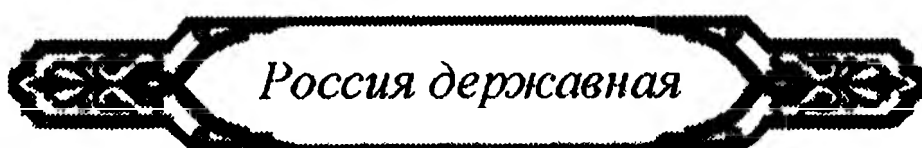
«Видно, им своих жалче»,— неотступно стоит у меня в уме.

Спустя много дней вдесятеро раз сильнейшая английская армия перешла наконец в наступление на слабые, разрозненные турецкие полки и вытеснила их из долины Тигра.

Через Ханакин и Каср-и-Ширин мы вернулись к полку, поджидавшему нас у границ Месопотамии.

Так закончилась одна из славных страниц русской военной истории, память о которой хотелось бы сохранить для потомства.





Хаджи-Мурат Магомедович
Мугуев

К БЕРЕГАМ ТИГРА

Редактор *А. Храмков*
Компьютерная верстка *М. Бойковой*
Корректор *Ю. Черникова*

ООО ТД «Издательство Мир книги»
111024, Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 6

Отдел реализации:
тел.: (495) 974-29-76, 974-29-75; факс: (495) 742-85-79
E-mail: commerce@mirknigi.ru

ООО «РИЦ Литература»
115407, Москва, Судостроительная ул., д. 40

Подписано в печать 20.01.2011 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура «Петербург»
Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,92
Тираж 4500 экз. Заказ № 4364.
Отпечатано по технологии СТР
в ИПК ООО «Ленинградское издательство»
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 21/1
Телефон / факс: (812) 495-56-10.

Писатель Х.-М. Мугуев (1893—1968) в чине хорунжего участвовал в боях Первой мировой войны на Кавказском и Персидском фронтах, а много позже служил в советском консульстве в Турции. Он знал не понаслышке, что «Восток — дело тонкое». Историческая повесть «К берегам Тигра» — о мужестве русских казаков, в 1915 году помогавших англичанам при взятии Багдада. Казачья сотня Уманского полка, стоявшего в Персии, получает секретное задание выдвинуться на соединение с частями англичан, увязших на подступах к Багдаду. Впереди многие километры пустынь, палящий зной и турецкие засады, но задание должно быть выполнено любой ценой...

ISBN 978-5-486-03851-8



9 785486 038518